

1917 год

Брянск, 28 января 1917 г.

Несколько слов с дороги. Приехав на Брянский вокзал, узнал, что идёт ещё несколько скорых поездов до Киева! Что они будут не раньше 12-ти ночи, а уйдут не раньше 2—3 часов. Записался тут же у коменданта на плацкарт (III класса, так как II были разобраны). Подумал, как использовать оставшиеся часы. Решил домой не возвращаться. <...> Я решился не поехать домой, и поехал к Гефтеру¹, где провёл вечер. Между прочим, он обещал достать тебе пуд муки. Говорит, что получить можно будет в конце следующей недели.

В первом часу ночи я вернулся на Брянский вокзал. Пришёл один из скорых поездов. Когда я захотел взять плацкарт, то узнал, что все плацкарты проданы! Оказалось, что продажа их производилась раньше, чем мне указал комендант.

Тогда я решил поехать с почтовым поездом, на который тут же и взял билет. Ведь всё равно и скорые поезда придут ненамного раньше нас в Киев. Почтовый вышел из Москвы только в четвёртом часу утра! Сейчас 10 часов вечера, а мы ещё только в Брянске. Обещают, что завтра к обеду будем в Киеве. Посмотрим.

Спал я хорошо. В моём распоряжении целая скамья в купе. Поезд не слишком переполнен. Уже второй звонок. Стоим недолго, догоняем. Успел поужинать и чайку попить.

Как наша Пузырка? Много о ней думаю... Когда теперь получу письмо от тебя?

Славная моя Шурочка. Будь бодрой и верь в будущее. Во мне не сомневайся, хорошая. Не может быть, чтобы наши испытания долго продолжались.

Входят пассажиры, шумят, мешают писать. Завтра напишу из Киева.

Раздельная², 31 января 1917 г.

По порядку: после того, как написал тебе второе письмо (из Киева), я написал ещё письмо матери. <...> Затем тут же ночью вышел гулять по улицам Киева. Дошёл пешком до Купеческого сада. Вернулся к пяти часам утра на вок-

¹ Гефтер Николай — гимназический друг Фр.Оск.

² Станция на северо-западе от Одессы, вблизи границы Украины с Молдавией.

зал. А в 6? часов утра, давши бакшиш проводнику, пробрался в свой вагон, где и занял верхнюю полку. Сейчас же расположился спать и проспал весь день. Вечером в Виннице выпил чаю и закусил, а затем опять лёг на боковую. В проходах творилось нечто невообразимое. У нас в купе было 9 человек. Спал я хорошо и теперь совсем бодр.

Сюда приехали в 9 часов утра. Я на вокзале помылся, покушал и сижу, пью чай. Вдруг вижу входящего в залу Сергея Михайловича! Оказывается, его внезапно командировали в конце января в Одессу на какое-то военное санитарное совещание. Он там пробыл несколько дней и вот теперь возвращается. Стоянка наша была всё время та же, никуда не перемещались. С 18 января из Р. снова запрещены отпуска вследствие непригодности р. [российских?] дорог, впредь до улучшения движения по ним!!!

Как счастливо я попал, Шурочка! Всё-таки мне, в общем, везёт. Дела у меня, вероятно, теперь будет немало... Многое ещё можно было бы прибавить Тарасевичу!..¹ Впрочем, он многое скоро и сам услышит. С.М. просит передать тебе поздравление и лучшие пожелания. Он всё такой же подвижный и живой.

До 22 января никаких для меня неприятностей там не было. Сергея Гавриловича на моём месте пришлось заменить Катовичем; оказалось много дел.

Сейчас я устроился сравнительно ничего, у меня есть место для сидения. Вероятно, и на ночь удастся устроиться. Тут 1—2 градуса мороза, снег. Вдвоём ехать веселей. <...> Постараюсь написать из Кишинёва.

Унгены², в ночь с 1 на 2 февраля 1917 г.

Пишу тебе последнее письмо из пределов России. Через какие-нибудь один-два часа мы будем по ту сторону границы. Вчера в 3 часа дня мы, наконец, выехали из Раздельной. Я устроился хорошо, опять на верхней полке. Много лучше, чем Сергей Михайлович. И ночь спал хорошо. В 1 час ночи приехали в Кишинёв [от Раздельной до Кишинёва не более 110—120 км] и стояли здесь благополучно до 11 часов сегодняшнего дня. Утром в Кишинёве попил чайку, а затем завалился на целый день на свою полку. Тут очень кстати прилились и рижский хлеб, и шоколад. Халву мы съели с С.М. ещё в Раздельной. Читал «Русские ведомости» за ноябрь! Потом поговорил кое с кем на тему о войне и её перспективах. В 11 часов вечера мы приехали сюда в Унгены. Скоро отойдёт поезд на Яссы. Тут мы поужинали, и вот пишу тебе это письмо в переполненном зале под шум и говор толпы. <...>

Ещё, конечно, не могу сосредоточиться и погрузиться в воспоминания о недавнем прошлом. Могу только сказать, что оглядываясь назад, чувствую, как становится светло и тепло на душе. Впервые нам были даны короткие, слишком короткие и неполные дни семейной жизни, семейного счастья... Эти дни залог нашего будущего, полного и не омрачённого ничем счастья... Сейчас мы оба ещё люди ненормальные, и нет ничего страшного и удивительного, что первые дни

¹ По всей видимости в свой приезд в Москву Фр.Оск. встречался и беседовал с Львом Александровичем Тарасевичем (1868—1927), выдающимся эпидемиологом, микробиологом и общественным деятелем.

² Пограничная станция на левом, восточном, берегу Прута, ещё в Молдавии.

нашего свидания были такие грустные. Это временно, это пройдёт, я верю. Мы не можем не понимать друг друга, когда мы вместе, неразлучны. А в нашем ре-бёнке, Иринке, появился для нас обоих такой прочный цемент, что в нём невозможны даже маленькие трещинки, даже по недоразумению. <...>

Я позабыл тебе оставить доверенность на дрова в экономическое общество. Пришлю с места.

Ясса, 2 февраля 1917 г.

Мы тронулись с места только в 3 часа утра, а 18 вёрст до Ясс тащились 7 часов (!). Тут узнали, что наш поезд отправляется только в 1 час ночи. Опять свободен весь день. Мы тотчас же потащили вещи на питательный пункт Пуришкевича¹. Он разместился здесь в просторных палатках на вокзальной площади. В одной из них на носилках устроены койки для офицеров. Нам удалось захватить свободные. Хорошо помылись, зашли в палатку-столовую, где попили чай с хлебом и пошли в город. Товаров уже не осталось никаких. **Сергей Михайлович** искал шёлковые чулки, однако ничего не нашёл — всё распродано. Немного погуляли по городу. Зашли к коменданту, а потом вернулись к обеду. Обед ничего, достаточно приличный, но чай лучше. Легли спать и благополучно проспали до половины седьмого вечера. А тут, к счастью, опять ужин. Он хуже — видно, что в ход пускаются всякие остатки. Экономия! Сейчас тут же, за отдельным столом, пишем письма. Попьём чайку, а потом Сергей Михайлович всё зовёт в город в какое-нибудь кино. Придётся пойти. Вот и вся наша программа. Надеемся ночью выехать в нетопленном вагоне с разбитыми стёклами. Погода прохладная, морозец. Приятная перспектива.

Бырлад², 3 февраля

Пишу тебе шестое письмо, а всё ещё с дороги. Никак уехать не можем. Письма мои малоинтересны, я знаю. Но ты прими во внимание, в какой обстановке они пишутся. Сейчас я пишу, сидя в маленькой комнате на вокзале, отведённой для проезжих офицеров, битком набитой людьми и багажом, в душливой атмосфере, расположившись на примитивной грязной койке, держа лист бумаги на коленях. Где тут сосредоточиться. Уж пускай эти письма будут свидетельствовать только о том, во что нам обходятся наши короткие отпуска!

Долго мы вчера мы с Сергеем Михайловичем находились в нерешительности, по какой из двух параллельных железных дорог нам спуститься на юг, и куда потребовать выслать нам лошадей. Улыбалась нам перспектива (по наведённым справкам) проехать ещё двое суток! Но мы всё-таки устояли. Решили, наконец, поехать по дороге, по которой я выехал в отпуск. Румынский комендант оказался

¹ Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) — политический деятель крайне правого толка, монархист, один из убийц «старца» Распутина. Отличался экстравагантным поведением и эпатажными выступлениями в Думе. С началом войны организовал ряд образцовых санитарных поездов (сам был командиром одного из них) и сеть отлично налаженных питательных пунктов в прифронтовой полосе.

² Уездный город и станция в среднем течении р. Бырлад, километрах в 120—130 южнее Ясс, недалеко от восточной границы Румынии.

любезным и устроил нас в купе к своим соотечественникам. В этом вагоне все окна оказались целы! Большая редкость. Мы расположились, сидя сравнительно хорошо, укрылись одеялами. Было не слишком холодно. Выехали в двенадцатом часу ночи. На площадке стояли наши солдатики, которым было холодно. Они поэтому усиленно топали ногами и работали локтями. Кончилось это занятие тем, что они выбили стекло в наше купе. И вот мы до утра ехали со скрежетом зубовным.

Здесь нам пересадка. Приехали в 7 утра и узнали, что поезд дальше пойдёт только вечером. Опять сиди весь день на вокзале! Пошёл разыскивать Сергея Николаевича¹, но узнал, что он уже выехал в Одессу, куда получил новое назначение. Кормимся тут на питательном пункте. Как всё это надоело. Надеемся ночью приехать на станцию назначения и сейчас же дальше поехать лошаадьми. В лучшем случае дома будем завтра утром. Мытарства!

Пуфешти², 5 февраля 1917 г.

Вчера вечером в половине девятого мы, наконец, были на месте, на старом месте! Я страшно утомился, меня познабливало, в ушах шумело, я мало что понимал. И сегодня ещё далеко не отдохнул. Всё ещё нездоровится, голос охрип, в носу щекочет, в ушах шумит. Пойду в баню и потом завалюсь, приняв аспирину.

Впрочем, закончу повествование о нашем путешествии.

Только что, сидя в Бырладе в душевой комнатухе, я закончил тебе письмо, как мы узнали, что сейчас отходит случайный состав поезда в Т[екуч].³ Тотчас же мы собрались и сели в вагон 3-го класса, битком набитый, с антрацитовою печкой. Было страшно душно и жарко. Тут я окончательно и простудился. В девятом часу вечера мы, наконец, подъехали к станции, где нас должны были ожидать лошади. На месте узнали от жандарма, что экипаж приехал, но люди, узнав, что пассажирский поезд придёт на раньше двенадцати часов ночи, куда-то уехали. Мы едва держались на ногах. Тогда мы решили воспользоваться гостеприимством смотрителя интендантского магазина нашего корпуса, тут же рядом со станцией. Попили у него чаю и сейчас же завалились спать.

Утром мы увидели наших людей. Отправили подводу с вещами вперёд, а сами предварительно поехали в наше интенданство (за 3 версты), так как узнали, что в его районе много случаев гессигенс'а [возвратного тифа]! Там мы встретились с Екатериной Константиновной⁴, которая на меня произвела впечатление совсем изломанной. Опять во всём сомневается, ни во что не верит, мечется без руля и без ветрил. Что с ней будет, не знаю. Нет в вас, женщинах, своего центра..., почти без исключений.

Из интенданства удалось выехать только в 3 часа дня, ехали мы целых 5? часов. Дорога становилась всё хуже, так как почти всюду ещё держатся сугробы. Днём подтаивает, ночью подмерзает. Во время этого последнего перехода как-то

¹ Розанов Сергей Николаевич — тоже из врачей-ассистентов Морозовской больницы.

² Село Пуфешти в 8 км южнее города Аджуда, на правом (западном) берегу р. Серет.

³ Текуч — городок на р. Бырлад, железнодорожный узел примерно в 50 км южнее гор. Бырлада.

⁴ Екатерина Константиновна — сестра милосердия в Земсоюзе.

особенно почувствовал, как далеки вы там, в тылу от понимания нас. Как бы вам там ни было тяжело, вам всё же несравненно, неизмеримо легче живётся, чем нам! Поверь мне, дорогая. И условия жизни становятся всё тяжелей и тяжелей... Я очень хорошо сделал, что взял с собой хоть немного продуктов. Тут теперь решительно ничего нет и не предвидится...

Ressigens среди жителей делает громадные успехи, и не только среди них. Есть и ex. и ch. [*сыпной тиф и холера*], хотя и немного. Я ещё очень многое мог бы теперь добавить Л.А. [*Тарасевичу*]... Всего не расскажешь и не опишешь. Мне же после тихих дней в Москве так страшно хочется светлого, хорошего, радостного, что не мирится душа моя с окружающим, не приемлет...

Здесь нас встретили Сергей Гаврилович и Алексей Авксентьевич [*Барченков*], которые теперь столуются вместе. Василий Михайлович¹ находится в трёх верстах отсюда, со штабом. Он теперь там заведует собранием. Бойко² Сергей Гаврилович прогнал, в конце концов, в обозные. Даже нам невоготу стало. Готовят нам Барченковский денщик и мой Рязанов. Меня вчера же обступили, стали расспрашивать. Япил с ними чай, что-то говорил, но мало соображал. Сегодня за обедом зато уж поговорили всласть.

Сегодня утром мы с Сергеем Михайловичем поехали в штаб, явились к корпусному врачу. Возможно, что на этих днях он получит высшее назначение и уедет. Непременно до весны уйти хочет и Сергей Михайлович, уже хлопочет. О переводе в тыл хочет подать рапорт и Барченков. Что из этого выйдет? Все так предельно устали, достигли пределов своих нравственных сил...

Как хорошо у вас, несмотря на все неурядицы, дороговизну и т. д. и т. д.!!!!!!!

Пуфешти, 6 февраля 1917 г.

Кончилась моя бездеятельность. Как я и думал, работа мне нашлась скоро. Получил приказание отправиться с отрядом в район нашего интендантства и там организовать больничку на 10 коек для рекуррентиков, если хворать будут не только жители. Вообще мне придётся взять там в свои руки санитарное дело.

Они стоят далеко от нас, сообщение плохое, так что лучше не вывозить от них гессигенс, а держать там же на месте. Я думаю, что мне придётся главным образом налаживать всё это дело, а потом передать врачу интендантства. Мы считаем, что эта задача может быть выполнена в одну, много — две недели. Людей своих я уже выслав вперёд, а сам выезжаю завтра утром.

Я себя чувствую уже совсем хорошо, особенно после бани. Только голоса ещё нет, и дерёт в носоглотке. Это пустяки. Возни мне в ближайшие дни предстоит немало. Пока же я о ней ещё не хочу и думать.

Отношение ко мне товарищей, Сергея Гавриловича и Ал. Авксентьевича, очень хорошее, сердечное. Вчера по душам беседовали с С.Г. на тему о том, кому лучше живётся: нам здесь или вам в тылу. Пришли к согласному выводу, что вы даже понять нас не можете, так далеки вы от нас! Я ему рассказал, какой я приехал в Москву, и как оцепенение это прошло только после обильных потоков слёз, чего со мной никогда не бывало. Тогда он мне ответил, что сегодня же, чи-

¹ Василий Михайлович (Архипов?)

² Бойко, денщик С.Г. Матвеева.

тая отчёт m-те Тарасевич¹ о наших пленных, он вспомнил своего исчезнувшего без вести брата и вдруг заметил, что катятся слёзы невольные, горькие... Нет, мы стали совсем никуда не годными. Нервная система наша совсем расшатана. А вполне понять нас вы всё-таки не можете.

Вот и Сергей Гаврилович рассказывает, что ему жена говорила, что многое в письмах, его, по-видимому, волнующее, ей чуждо, непонятно и совсем не задевает её. Не можете вы проникнуться сознанием нашей полной культурной оторванности, того, что мы лишены всего чистого, светлого, хорошего, что уходит у нас почва под ногами... Как это горько! Я вернулся из отпуска пока ещё бодрый, но, глядя на товарищей, невольно задаюсь вопросом, — надолго ли?..

Хочу ещё сегодня вечером проявить московские снимки. Не знаю только, придётся ли? Вероятно, зайдёт Василий Михайлович, посидят Сергей Гаврилович и Ал.Авкс., потолкуем о том, о сём. Что же ещё нам остаётся делать?

Хочу скорей получить от тебя письмо, узнать, как ты поправляешься, как растёт наша Иринка. Как мне хочется к вам! У вас так хорошо, тепло, светло...

С[лобозия] – К[орни]², 8 февраля 1917 г.

Устал, как бес, едва держусь на ногах. Вчера верхом проделал около 35 вёрст (с непривычки-то!) и сегодня не меньше 10–12. Возни много. Сейчас тебе писать не буду, так как, ей-богу, не могу. Сейчас же завалюсь.

Вчера ночевал в комнате товарища, а сегодня меня приютили румынские помещики, уступившие мне комнату. Кровать хорошая, мягкая! К ней я тянусь. Завтра напишу подробней.

С[лобозия]-К[орни], 9 февраля 1917 г.

Отпечатал я московские снимки. Долго, долго гляжу на них. Как живая сидишь ты в уютной светлой большой комнате за работой. Так приветливо ласкает взор даже сработанная Лени скатёрка. Тут всё родное, всё мило! <...> Нет, положительно хорошая штука фотографический аппарат. Много наслаждения доставляет он. В случае пожара, Шуручка, первым делом спасай альбомы!

Рассказывать о себе? Как-то не хочется. Верчусь в колесе. В версте отсюда, в соседнем селе, я занял под приёмный покой для инфекционных больных помещение школы. Покупаю всё, что мне нужно и что могу достать. Кое-что, но очень небольшое, мне выдал один из лазаретов. Завтра я ещё раз посылаю в два конца. Если не получу всего, то посылаю в Яссы к Пуришкевичу. Пока привёл в порядок помещение, устроил нары, подвёз солому, купил дров. Временно я выдал свои личные простыни, наволочки и полотенца, пока не достану. Нательное бельё имеется. Больных ещё нет. Хлопот ещё много. Нет керосина, свечей, мыла, нет самых необходимых продуктов. Откуда взять, если нет даже у интенданта? Вот и вертисься. Всё-таки как будто что-то делаю.

¹ Тарасевич А.В. Отчёт по обследованию лагерей и мест водворения русских военнопленных в Австрии и Венгрии. М., 1917. Автор отчёта — Анна Васильевна Тарасевич, урожд. графиня Стенбок-Фермор (1872–1921), камерная певица, жена Л.А. Тарасевича, в годы войны ставшая сестрой милосердия.

² Слобозия Корни в 25 км от Пуфешти.

Зато хорошо сейчас вечером в уютной комнате, с твоими письмами, с московскими снимками.

С[лободзиня]-К[орни], 10 февраля 1917 г.

Сегодня узнал случайно, что идёт Масляная неделя. Вероятно, у вас в Москве, несмотря ни на что, обычный масляный угар. А я так далёк от него.

Всё вожусь со своим приёмным покоем. Сегодня меня уже наградили целой четвёркой больных, по-видимому, рекуррентиков. Придётся немного вспомнить своё врачебное звание. Беда мне с постельным бельём. Нет простынь, наволочек и т. д. Продовольственный вопрос, вероятно, разрешится удовлетворительно. Для кого-кого, а для моих больных интендант обещал выдать последние остатки запасов. Их я завтра и получу. Даже несколько фунтиков мыла!!!

Послал сегодня в город Т[екучи] за разными мелкими вещами: кастрюлями, ложками, туфлями, малярными кистями и т. д. — и ничего не достал, даже самого плохонького! Придётся завтра посылать в Я[ссы], иначе пропадём. С большим трудом выклянчил в соседнем транспорте полподводы подстилочной соломы для коек. Завтра куплю кирпичей и попрошу дать мне мастеров, — буду строить печь. Надо посылать в полевую аптеку. Надо исходатайствовать себе лошадь в отряд взамен павшей и т. д. и т. д.! Не перечить. Всё больше и больше страдает, конечно, моя канцелярия по мере накопления всяких дел. Но, в общем, я стал как-то бодрее: всё-таки что-то делаешь! Как нужна человеку осмысленная работа.

Теперь я — целый госпиталь. В одном лице и главный врач, и старший и младший ординатор, и смотритель, и писарь, и письмоводитель. Целый Мюр и Мерилиз! <...>

Послезавтра у меня будут новые сапоги. Обойдутся они мне рублей в 25—26. Зато очень хорошие.

Слободзиня-Корни, 12 февраля 1917 г.

Я сейчас ещё мало читаю, так как нет времени. Но желание есть — я опять хочу и могу читать. Как оживил меня последний отпуск. Я опять стал похож на человека. Перед сном, лёжа в кровати, почитываю «Грибодовскую Москву»¹ и старые газеты.

Комната моя тихая, уютная. Во всю стену большущий мохнатый ковёр. Огонь в печке так ярко горит, дрова потрескивают. Тепло. А на дворе опять морозы, что-то около 15°! Выезжаешь на своей бричке, а под колёсами снег скрипит. Ветер продувает, уши мёрзнут, щёки горят. Всё ещё зима. Когда же наступит весна, лето, а потом и конец нашим испытаниям?..

С приёмным покоем у меня всё ещё ряд неразрешенных вопросов. Всё ещё нет постельного белья, нет туфель. Не знаю, как мне быть с санитарной отчётностью: ведь мы же всё-таки не лазарет. Неохотно беру на себя ответственность и за диагностику. Вот вчера пришлось диагностировать случай *exanthematicus* 'a [сыпного тифа], а вполне определённой уверенности всё-таки нет. Завтра будет у меня Сергей Михайлович, с ним посоветуюсь.

¹ Гершензон М.О. Грибодовская Москва (М., 1914, 1916).

С[любозия]-К[орни], 13 февраля 1917 г.

Получил от тебя вчера вечером письмо, написанное 31 января! <...> Как медленно теперь идут письма! <...> Пузырка, Пузырка! Видел я тебя первые 11 дней твоей жизни, а когда теперь увижу?.. <...>

Должна война кончиться этим летом, иначе ничто для нас не будет больше свято. У каждого человека только одна человеческая сила, не больше... <...>

Завтра еду в П[уфешти], навестить товарищей, достать постельного белья для своих больных (их уже шесть), поговорить кой о чём с Сергеем Михайловичем (он проезжал и не заехал ко мне). <...>. Вернусь поздно.

С[любозия]-К[орни], 16 февраля 1917 г.

Сегодня нашей Иринке исполнился первый месяц. Первый её юбилей! Шлю вам обеим снимки, в надежде, что останетесь довольны этим подарком. Ну что? Ведь верно хорошо, милая моя мамочка? Одну открытку (с зевающей Иринкой) посылаю отдельно. Лишь бы всё дошло хорошо. Почта, по-видимому, опять шалит, так как я уже три дня не имею от тебя ни малейшей весточки. <...> Последний номер Р.В. был от 30 января! Скорость поразительная! Снова приходится вооружаться терпением. И так до бесконечности. Во сколько томов ещё разрастётся наша переписка?.. <...>

Вот, когда у меня будет опять побольше времени, я хочу написать в обычной форме писем рассказ о том, как в ноябре и декабре мы дряпали по Румынии, и что при этом переживали¹. Ведь обидно, что в нашей переписке имеется такой долгий пробел. Я тебе в Москве начал рассказывать, да так и не кончил. А со временем многое может забыться. Хочу реставрировать в памяти, пока не поздно. А в следующий свой приезд в Москву эту литературу захвачу с собой. <...>

У нас опять глубокая зима. Метёт метель, да ещё как! А я думал, что сюда вернусь уже на весну.

В моей больнице уже 10 человек! Из них два экзантематика, остальные рекуррентики [т.е. двое с сыпным тифом, остальные с возвратным]. Я очень доволен, что занимаюсь всё-таки какой ни на есть клиникой. И болезни эти для меня представляют к тому же интерес новизны. Люблю я инфекционные болезни, где всё протекает так бурно, ярко. И здесь я полный хозяин. Всё устройство зависит от меня. Боюсь только, что скоро придётся закрывать лавочку. Поблизости встанет госпиталь, в который мне, вероятно, и придётся перевести больных. Кое-какое постельное бельё я сегодня, наконец, получил — прислал из лазарета Барченков. Понемногу навели у себя некоторый порядок. А тут как раз и придётся прикрыть. И всегда так. Заражения я не боюсь, и ты не бойся. Я очень осторожен и слежу за персоналом.

А тут теперь нет ни одной деревни без рекурренса. О населении нам и думать не приходится. Оно беспомощно.

С[любозия] – К[орни], 17 февраля 1917 г.

Опять нет писем! Который уже день! <...> А на улице метель. Намело уйму снега. Какая поздняя в этом году зима. А в городах нет дров... Как ты там справляешься? Получила ли посланную мною доверенность? <...>

¹ Этот замысел не был осуществлён.

Всё возня с лазаретом. Теперь у меня 12 больных. Есть тяжёлый пнеймоник. Как бы не помер. А экзантематика как будто начинают поправляться. И тяжёлая это болезнь! Не приведи Господь. И всё-таки интересно. <...>

Читаю «Одиночество» Лозина-Лозинского¹ с большим интересом. Оригинальный он человек. Непременно хочу читать потом ещё раз с тобой. Жаль только, что книга так скверно издана.

С[лободина]-К[апри], 19 февраля 1917 г.

И вчера не было от тебя писем. Вместо этого весь день и ночь выл ветер, и кружилась снежная метель. Я возился со своими больными, а вечером читал Лозина-Лозинского, этого оригинального шатуна по свету. Сегодня же, наконец, получил три письма от тебя! <...>

Тебя, конечно, интересует, каковы наши отношения с Екат.Конст.? Они вошли в нормальное русло. За месяц моего отпуска она много передумала, пережила. Я её застал ещё мятущуюся, не нашедшую твёрдой почвы под ногами. Она меня встретила даже враждебно, как чужого. Но первая же эта встреча закончилась её слезами, а после этой бури наступило успокоение. Я думал, что нескоро мне придётся с ней увидеться вновь, так как она оставалась в интендантстве. Но вот и меня откомандировали в этот район, и нам пока приходится встречаться довольно часто. От неё живу в двух верстах. Она была уже несколько раз у меня. Я ей помогал в первых уроках французского языка, которым она занялась пока с увлечением. В марте она собирается поехать в отпуск, не знает ещё твёрдо, вернётся ли. Характер наших отношений очень простой, непринуждённый, хороший, товарищеский — и больше ничего. И таким, несомненно, и останется.

С[лободина]-К[апри], 20 февраля 1917 г.

Пишу не много и быстро. Устал. Ездил и ездил. Ругался. Всё по поводу развивающейся у нас эпидемии *recurrens*'а и *exatthematicus*'а. Заставляю мыть людей в банях, пропускать их вещи через дезинсектор, чистить помещения и т. д. и т. д. С командирами частей приходится ругаться. Публика они здесь в тылу косная — старички допотопные. <...>

Ты получила только два моих письма, причём не разберу, какие именно. Как плачевно работает почта! Прямо горе.

С[лободина]-К[апри], 21 февраля 1917 г.

Ну, конечно, сегодня опять нет писем. Перечитываю вчерашние. Сразу же наткаюсь на нечто, чего вчера не заметил. Ты пишешь: «не удалось?! тебе писать» и т. д. К чему этот иронический вопросительный знак после «удалось»? Ай, ай! Ты опять! Ставлю тебе на вид. Я тебе писал из Брянска, из Киева (помню, хорошее письмо! Обидно было бы, если затерялось), из Раздельной, кажется, из Кишинёва (не помню сейчас), из Унгени, из Ясс и из Бырлада (из-за письма чуть не прозевал поезд). Писал тебе часто в совсем невозможной обстановке (Унгени, Бырлад), сильно утомлённый. Писал с увлечением, думая о тебе и Иринке... Нет, никак не

¹ Лозина-Лозинский А.К. Одиночество. Капри и Неаполь (Случайные записи шатуна по свету). Пг., 1916.

могу принять на свой счёт это иронический знак вопроса... Не без некоторой иронии сказаны и заключительные твои слова: «высыпайся, а остальное всё к тебе приложится». «К тебе!» Словно я и в самом деле такой счастливчик в жизни, что мне можно и спать — всё само собою делается! Ах ты, ирония! <...>

Ты вот там Масленицы не заметила. А я забыл о её существовании. Нет, не думай теперь, что у нас тут изобилие во всём, а только несчастный тыл во всём обижен и голодает. Вам всё-таки очень и очень недурно живётся, даже несмотря на то, что хлеба мало, что газа нет и что трамвай будет ходить только до 7 часов вечера. Эх вы, избалованные столичные жители! Разве «вы» и «мы» — это две величины сравнимые? Ни в коем случае. Я теперь был в Москве и сам лишний раз убедился. С этой позиции ты меня теперь не сдвинешь.

С[лободина]-К[орни], 22 февраля 1917 г.

Ты так подробно пишешь об Иринке. Спасибо тебе, милая. Ты боишься, что она будет нервной девочкой. Да, наследственность, располагающая к нервности, есть — и папаша, и мамаша люди нервные. Но такая ли уж это беда? Что же, ярче, острее будут переживания, полнее жизнь... Ведь не то цель жизни, чтобы подольше жить в невозмутимом спокойствии, а в том, чтобы изжить её полней, разносторонней, богаче. Путь она хоть быстро сгорит, но горит... Не желаю я ей спокойствия. Ещё мальчику можно пожелать, но девочке — нет, ни за что. <...> Ты пишешь, что нужно дальше держаться от людей и их откровенностей, ведущих на путь компромисса. А я не боюсь этого, не боюсь жизни, не замыкаюсь в свои собственные рамки. Люблю вникать в чужую психологию, приобщиться чужой души. Прикоснуться к чужим ранам... Ведь помнишь у Goethe: und wo ihr's rackt, da ist's interessant...¹ Не могу отказаться от этой точки зрения. Это — моя сущность. Ведь ты меня знаешь. <...>

На большинство вопросов ты ответ уже имеешь. Сапоги у меня теперь новые, крепкие, хорошие. Любо смотреть. Воздушные гости пока совсем не беспокоят. По крайней мере, здесь, вдали от фронта. О настроении товарищей и, в частности, о Сергее Гавриловиче я тебе уже писал подробно из П[уфешти]. Дмитрук вернулся раньше меня и служит мне верой и правдой. <...>

С[лободина]-К[орни], 24 февраля 1917 г.

Вот опять нет писем! И так проходит день за днём. И что же это такое? Получил только номер Р.В. от 15-го, а от предыдущих дней, начиная с 10-го, ещё нет. Полная беспорядочность.

Фельетон Гребенщикова «Синяя Птица»² прочёл, но особенного впечатления на меня он не произвёл. Написан немного слащаво, в духе рождественских рассказов. Хорошо заключительное: стук колёс «никогда, никогда»... <...>

Боюсь, что скоро придётся мне покинуть свою уютную комнату здесь у помещика. Вероятно, на днях меня возьмут обратно в П[уфешти]. А там не толь-

¹ «Запускайте руку внутрь, в глубину человеческой жизни! Всякий живет ею, не многим она знакома — и там, где вы ее схватите, там будет интересно!» («Фауст», перевод И. С. Тургенева).

² Фельетон Гребенщикова «Синяя Птица» — см. Р.В. 15 февр.?

ко нет сейчас приличных помещений, но даже и нет их вовсе. И придётся тогда опять разъезжать и снова забыть о клинической медицине.

Нет, я всё-таки люблю медицину. У меня в крови есть к ней пристрастие. Нет только познаний, нет системы. Нужна работа, и я недурным буду врачом, ей-богу. Но настоящее моё невежество достигает высоких пределов. <...>

Ты высказываешь мнение, что Пузырка кричит потому, что она устаёт лежать в постельке. Какой же вред может быть ей от того, что ты её иной раз возьмёшь на руки? Следует ли так уж придерживаться теории? Судить об этом представляю тебе, но ты напиши о своих соображениях. <...>

Возня у меня с освещением. Керосин, словно дёготь, воняет и не горит. Свежей нет, лампы скверные.

С[лободзиа]-К[орни], 25 февраля 1917 г.

Письма от тебя сегодня нет, и это очень печально. На почте сообщают, что завтра будет много. Ожидают большой транспорт сразу. Но завтра меня не будет, и мне придётся ждать до послезавтра. Дело в том, что завтра я собираюсь в П[уфешти], к товарищам, а также выяснить хочу своё настоящее положение: останусь ли я здесь и буду продолжать свою высокополезную деятельность в том же направлении, или меня возьмут обратно в штаб и снова заставят разъезжать по разным направлениям, выискивая заразу и упущения по борьбе с ней. Эта деятельность меня теперь ещё меньше привлекает после того, как я снова, хотя и в очень скромных размерах, прикоснулся к настоящей медицине.

Еxanthematicus'a я не боюсь, я очень осторожен, принимаю все меры. То же самое заставляю делать моих фельдшеров и санитаров и думаю, что мы гарантированы от неприятностей. Размеры лазарета моего скромны, чистоту в нём поддерживать легко. Больных у меня будет теперь совсем немного, так как я всегда могу избыток переводить в армейский госпиталь. Для выяснения же диагноза, для того, чтобы лихорадящие больные не залёживались в околотках, распространяя заразу, такой лазаретик, по-моему, необходим — изоляционный околоток! Вот завтра поговорю с Сергеем Гавриловичем, посмотрим, что они там решат.

Поеду я верхом, так как дорога стала очень тяжёлой. Последние дни у нас начало таять, хотя и при облачном небе. Так что не очень ещё пахнет весной. Впрочем, кошки и собаки уже совсем в весеннем настроении. <...>

Хочу поскорее получить весточку от Пузырки. Что она папу забывает?

С[лободзиа]-К[орни], 27 февраля 1917 г.

Смерть, как устал! Пишу тебе, поэтому совсем немного, несмотря на то, что получил от тебя 4 письма и открытку от Эдит. <...>

Дорога ужасная. Снег рыхлый, и ноги лошади глубоко уходят. Так я вчера проехал до П[уфешти]. Это около 25—27 вёрст. Товарищи собрались в этот день в 29-й отряд, который теперь опять в распоряжении нашего корпуса. Я не хотел расстроить их планы и поехал с ними верхами. Ещё 10 вёрст туда и столько же обратно! По теперешним временам это не фунт изюма. А сегодня снова 25 вёрст из П[уфешти].

Зато я сейчас совсем разбитый. О 29-м [отряде] завтра. Сейчас только ещё сообщу, что корпусной врач и Сергей Михайлович решили меня с отрядом до

поры до времени оставить здесь, при интендантстве. Здесь необходим санитарный контроль. Когда прекратится эпидемия, меня отсюда возьмут.

Валюсь от усталости, все косточки ноют. Спать хочется смертельно.

На обратном пути один рукав речки С[ерет?] пришлось перейти вброд, так как мост разобрали по случаю начинающегося ледохода. Высоко забравши ноги, я перешёл благополучно. Вода достигала лошади до половины туловища. Течение сильное, плавают льдинки. Смешно! Представляешь ты меня в таком положении? Вероятно, трудно. Всё-таки исписал почти обычное число страниц, но дальше, ей-богу, не могу! Засыпаю и валюсь.

С[лободзья]-К[орни], 28 февраля 1917 г.¹

Ты хочешь не только искать опоры, но и сама служить опорой. Для меня ты и созданный тобой «семейный очаг» уже давно служат опорой и светочем в нынешней тёмной жизни нашей. Ведь там у тебя, у Иринки, «у нас дома» — там моя надежда, моя светлая радость, моя вера в будущее... Это будущее не могу я мыслить без вас обеих. И как это хорошо — думать о вас, как тепло становится на душе! И неужели необходимо утратить свою внутреннюю самостоятельность, чтобы почувствовать так? Конечно, нет. И я от всей души приветствую твоё новое настроение. Только любовь равного к равному есть настоящая, бодряя и красивая любовь. Не нужно ей элемента внутреннего подчинения, хотя бы и добровольного. Оставим это слабым... <...>

Настоящий, красивый и прочный брак не нуждается в какой бы то ни было форме подчинения одного другому, не нуждается даже в абсолютной удовлетворённости, в которой всегда, независимо от идейности её содержания, всё-таки заключается элемент застоя.

Свободная личность, заимствуя, но перерабатывая самостоятельно, идёт своим самобытным путём. Идеальный же брак в моём представлении есть тот брак, когда два свободных человека только друг в друге находят ответ и отклик на самые сокровенные интимные запросы своего духа, когда душа одного чувствует бесконечную близость и родственность души другого. Полной же тождественности всех стремлений и представлений я не жду и даже не желаю. Таким браком соединены мы с тобой, и в этом наше большое, большое счастье!

С[лободзья]-К[орни], 1 марта 1917 г.

Писем, конечно, нет опять. Ох, эта почта!

Новость: всё интендантство переходит на новые места, на другую сторону С[ерета]. А поэтому, вероятно, и мне в ближайшем будущем придётся ликвидировать своё предприятие. Буду, значит, опять разъезжать. Так не люблю это занятие! Впрочем, я ещё не имею никакого распоряжения на этот счёт.

Кругом грязь и грязь. Солнца нет, а потому скорее похоже на осень, чем на весну. Передвигаться сейчас будет не особенно весело, тем более что мосты через С[ерет] сняты и придётся ехать кружным путём. Впрочем, нам не привыкать!

¹ Стоит штамп: «Дозволено военной цензурой».

Как тебе, милая, понравилась речь Керенского, напечатанная в номере от 16 февраля?¹ Или ты теперь бросила совсем читать отчёты о заседаниях? Правда, в них тоже весёлого мало, но есть материал для постановки прогноза на будущее. Я вообще после отпуска отдохнул душой и могу опять читать и интересоваться тем, что делается кругом. <...>

Ты отдала Зелинского курсистке. Спасибо тебе, милая, за это. Я рад пропагандировать Зелинского и его мировоззрение. Это тебе не Мечников с его «40 лет искания научного мировоззрения»², книга, которую я видел у Барченкова. Какое нудное название он дал своей книге! Ты только подумай: сиднем сидит человек целых 40 лет и «ищет» (сколько пота это ему стоило, бедному!) «научное» мировоззрение. Он высчитывает длину толстых кишок у человека и других животных и т.п., — и это он называет «исканием научного мировоззрения»! Это именно не искание, а «выработка» — тоже красивый термин, прямо из толстого марксистского журнала. Как будто человек, имеющий открытые глаза и живой интеллект, не рождается уже с готовым мировоззрением, которое именно и является его индивидуальным способом восприятия мира, только ему свойственным, субъективным. Как это умные люди до сих пор путают эти два понятия: объективная наука и моё субъективное восприятие мира, то есть моё мировоззрение!!!

С[лободина]-К[орни], 2 марта 1917 г.

Опять нет писем. Есть только газета от 19-го.

Получил сегодня телеграмму от корпусного врача с предписанием ликвидировать свой лазарет и отправиться с отрядом в П[уфешти]. Где мы там устроимся? Там все хаты «битками» набиты. Придётся, пожалуй, мне попросить гостеприимства у Барченкова. А отряд как устрою, не знаю. Тут у меня на ликвидацию уйдёт ещё дня 2—3. Едва ли раньше 6-го выберусь.

Перечитываю твои последние письма. <...>

Не кончил письма, так как узнал, что почта уже свернулась и завтра переходит на новое место через реку С[ерет]. Значит, мы несколько дней будем не получать и не отправлять.

8 марта. Всё-таки пересылаю эти строки, написанные ещё в доисторические времена.

П[уфешти], 8 марта 1917 г.

Свершилось! Сподобил Господь! Наша родина без цепей!

Когда я третьего дня ещё в С[лободина]-К[орни] узнал эту новость и читал первые известия и манифесты, у меня голос дрожал, а в глазах стояли слёзы. А потом как-то невольно начал креститься, первый раз в жизни ища внешнего выражения для охватившего меня глубокого чувства.

Шурочка, милая моя, что сказать, что думать, когда в душе всё ликует, когда всецело доминирует чувство?! Как долго мы этого ждали, как напряжённо!

¹ В своей речи в Думе 14 февраля А.Ф. Керенский фактически призвал к свержению самодержавия — «уничтожению средневекового режима».

² Мечников И.И. ...Сорок лет искания рационального мировоззрения (М., 1913, 1914). — см.!

Уезжая из Москвы, я был убеждён, — и высказал это тебе, — в неизбежности случившегося теперь. Слишком расстроены были все стороны тыловой жизни. Здесь же, втянувшись в наши будни, я снова перестал верить. Я изверился... В особенности, когда Милюков обратился накануне открытия сессии Думы с своим горячим призывом к тишине и спокойствию... Только речь Керенского, произнесённая 15 февраля, произвела на меня большое впечатление. И на него одного я возлагал ещё некоторые надежды. И сейчас я его считаю, бесспорно, самой яркой, интересной и надёжной личностью в новом кабинете. Моё мнение о Милюкове ты знаешь. В остальном же, как мне кажется, трудно было бы выбрать более действенных и дельных людей. Тут все на своих местах. Только Терещенко¹ для меня terra incognita.

О последовательности и ходе событий мы тут ещё почти ничего не знаем. Имеем манифесты, которые прочитаны войскам с комментариями начальников частей. Приём они встретили хороший, но в общем сдержанный — гражданин ещё не проснулся, свобода даётся не сразу.

Горячий приём они встретили среди громадного большинства офицеров, особенно среди артиллеристов. Хотя есть единичные экземпляры, которые относятся сдержанно или выжидательно, особенно среди стариков. Я знаю только о двух случаях, когда новый порядок не был признан абсолютно, без оговорок: старый полковник, навзрыд проплакавший всю ночь от горечи, и один из офицеров нашего штаба, заговоривший о баррикадах и неподчинении «всяким там жидам», однако тотчас же сокращённый в своих порывах вескими словами командира корпуса.

«Народ молчит» пока, как всегда, не высказывается определённо. Но общее сочувствие, несомненно, на стороне нового порядка. Как мне сейчас хочется быть в Москве, с тобой, ближе к событиям! Хотя бы газеты получить поскорее!

У меня сейчас только одна мысль, около которой всё вертится. Ни о чём другом думать не могу. И меня оскорбляет и возмущает, когда я вижу сравнительно мало сознательное отношение к происходящему даже среди врачей (конечно, не Серг.Мих., Серг.Гавр. и Ал.Авкс.). Я не понимаю, как сейчас можно говорить и интересоваться будничным, обычным, или говорить о важном, великом легкомысленным тоном или просто детским лепетом. И ещё раз убедился, какое это растяжимое понятие «интеллигенция». Нет ничего удивительного, что столько времени понадобилось, пока люди, наконец, «раскачались». Но и раскачивали же здорово! Мёртвые проснулись.

Умиляет меня больше всего то, что после Щегловитова² и разных там Хвостовых³ министром юстиции сделался Керенский! Хорошая метла! И нужная, ох, как нужная!

¹ Терещенко Михаил Иванович (1886—1956) — богатейший сахарозаводчик и крупный землевладелец, в IV Думе примыкал к прогрессистам, входил в состав Центрального военно-промышленного комитета, Главных комитетов Союза городов и Земского союза, министр финансов и затем министр иностранных дел Временного правительства.

² Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918) — министр юстиции (1906—1915), последний председатель Государственного совета Российской империи.

³ Хвостов Александр Алексеевич (1857—1922) — министр юстиции (1915—1916), министр внутренних дел (1916). Хвостов Алексей Николаевич (1872—1918) — министр

Шурочка, хочется с тобой говорить и говорить... Теперь хоть писать тебе могу свободно. Какое это счастье! Боже мой! Увидели-таки глаза мои! Ты только подумай, Шурочка, война не была напрасна!.. Не напрасны все наши жертвы!..

У меня опять слёзы в глазах...

И[уфешти], 10 марта 1917 г.

Совсем плохо я тебе пишу, милая, последние дни. И это тогда, когда писать хочется о многом. Но не моя в том вина. Сначала я в С[лобозиа]-К[орни] несколько дней сидел без почты. Затем 7-го я сделал верхом переход в 50 вёрст, — из-за ледохода кружным путём через город А[джуд] приехал сюда в П[уфешти]. Можешь себе представить, как я был разбит физически! Я свалился на постель, как убитый. 8-го я верхом должен был проделать ещё около 20 вёрст. Заезжал к Барченкову, которого здесь уже нет. Мне спешно нужна была его подпись под одной бумажкой. Я и 8-го был не менее разбит, но всё-таки написал тебе. Вчера, 9-го, я по железной дороге поехал в город Т[екуч], где должен был явиться с документами в одну комиссию. Несмотря на то, что расстояние туда только 45 вёрст, я приехал только поздно вечером! Переночевал у товарищей одного из лазаретов. Сегодня утром явился в комиссию, но оказалось, что она уже выехала. Я даром проездил. Сейчас же вернулся сюда. Лягу пораньше спать, так как очень утомился за все эти последние дни. Даже, говорят, сильно похудел.

А писать хочется о многом. Ведь третьего дня я получил от тебя целых 8 писем, некоторые из которых задевают очень острые вопросы. Это о своём, личном.

А затем хочется много говорить и писать о великих событиях, о своих мыслях и настроениях по этому поводу. Милая, дай мне сегодня отдохнуть. Я с завтрашнего дня начну опять регулярный образ жизни и систематическое писание писем. Сегодня ограничусь только несколькими фактическими сообщениями.

Поселился я здесь вместе с Сергеем Гавриловичем. Мы, конечно, всё такие же друзья, что и раньше. Разговоры наши сейчас все, конечно, вертятся около одной темы. Как велика наша радость, наше торжество. <...> Люблю я с ним поговорить. Идейный он человек. Сейчас он просит меня передать тебе по случаю событий особый его привет.

Здесь я буду заниматься тем же, что и в последнее время в Вольни: вести околотов штаба и иметь санитарное наблюдение над командами его и за двумя сёлами, в которых мы все помещаемся. Разъезжать, вероятно, придётся мало. Рессигенс [возвратный тиф] повсюду, exanthematicus'a [сыпного тифа] меньше. Захворал-таки возвратным мой фельдшер Мокриев. Его третьего дня отправил в лазарет. Не обошлось, значит, и у меня без жертв. Барченков со своим полком в 8 верстах отсюда. Там же эпидемический отряд и наше интендантство с казначейством. Штаб в трёх верстах отсюда. Туда буду ездить каждый день. Вот факты.

Я сильно устал и на большее сейчас неспособен.

И[уфешти], 11 марта 1917 г.

Милая Шурочка и милая Ириночка. Я, наконец, опять в своей тарелке, выспался, отдохнул и могу с вами беседовать по-хорошему. Славные вы мои! Что вы скажете по поводу совершающихся событий? Как ваше настроение? Сплошь ли оптимистическое или омрачённое пессимистическими предчувствиями? Знаёте ли вы себя в настоящий момент только гражданками, или всё-таки и сейчас преобладают личные мотивы, и вы рассматриваете события под тем углом зрения, как они отразятся на основном вопросе, каждого из нас задевающим, — вопросе о войне и мире? Много ещё хочется поставить вам вопросов, а пока придётся высказать своё собственное предварительное мнение и рассказать о своих переживаниях.

Эти переживания, прежде всего, безусловно, радостные, и омрачить это основное настроение преждевременным скепсисом я не хочу. Для меня совершенно ясно одно: возврата к старому уже нет и не может быть. В этом громадная разница по сравнению с 1905-м годом. Тогда, что там ни говори, сознание необходимости нового устройства жизни не проникало дальше тонкого сравнительно слоя городской интеллигенции и ещё более тонкого — сознательных рабочих. Громадная масса только подхватывала лозунги, возносила их высоко, и так же быстро бросила их, как только наткнулась на серьёзное противодействие... А весь правительственный аппарат и средства воздействия оставались в руках старой власти. Не было настойчивости, потому что не было ясного понимания момента.

Ты знаешь, какое почётное место при объяснении исторических явлений я отвожу психологическим моментам. Не верю я в абсолютное значение классовой борьбы, всему этому экономическому материализму. Разве обострившиеся с 1905 года классовые противоречия привели ко второй русской революции? Конечно, нет. Изменилась психика людей. Сознание невозможности при старом режиме добиться хотя бы сносного существования, сознание, что при нём неминуемо полное государственное банкротство; это сознание должно было пустить прочные корни во всех слоях и классах населения, чтобы вылиться, наконец, в форму революции быстрой и сравнительно лёгкой, потому что защитников старого строя уже не было, не могло быть. Горемыкины¹ и Щегловитовы вернуться не могут. Их время прошло безвозвратно. И как же не радоваться этому от всей души, не ликовать открыто!

И всё-таки на душе немного тревожно... И вот почему.

Опасность сейчас грозит не справа, хотя я и убеждён, что не обойдётся совсем без попыток с этой стороны восстановить положение. Эти попытки будут обречены на неудачу. Опасность грозит слева! Не левая программа, конечно, нам страшна, но боюсь я немного левой тактики. Я не могу не принимать во внимание того, что наш серый солдат очень мало культурен. Недаром и кличка его «серый». Требуется очень большая сознательность, чтобы сохранить при данных обстоятельствах выдержку и спокойствие. Вот абсолютной веры в это у меня нет. Тут необходима величайшая осторожность и тактичность со стороны руководителей в Питере. К сожалению, как кажется, власть Временного правительства ещё пока не окрепла,

¹ Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) — председатель Совета министров Российской империи в 1906, 1914–1916 годах.

и ему, по-видимому, приходится считаться с Советами рабочих и солдатских депутатов. В этих же советах сидят люди слишком уж прямолинейные, принципиальные. Гучков — человек осторожный, он реальный политик. И если ему приходится отменять основные начала, поддерживающие внешнюю дисциплину в войсках, сознавая всю рискованность таких шагов (он не может не сознавать), то это значит, что он вынужден кому-то делать уступки. Вот это и нехорошо.

Исторический вековой авторитет пал, его нет. Внешние формы дисциплины отменяются. Вся ставка — на самосознание и благоразумие солдатских масс. Такой расчёт требует высокого культурного уровня масс, а его нет. Что годится и необходимо в Англии и Франции, то несвоевременно вводить в только что освобождённой России, в самый разгар европейской войны. Что будет? Не знаю. Но я предвижу возможность осложнений здесь, на фронте... Россия от этого выиграть не может, а потерять может многое. И это было бы очень, очень грустно.

Как я смотрю на вопрос о войне и мире, я тебе напишу завтра. Сразу о всём не напишешь, а хочется пообстоятельнее, чтобы мысли были высказаны ясно и отчётливо. Ведь теперь, наконец, о внутренних делах можно писать открыто! Хочу этим пользоваться широко. <...>

Поцелуй свободную гражданку Иринку. <...>

С переездом казначейства и интендантства я до сих пор не получил денег. Придётся получить уж после 20-го, когда сразу вышлю тебе большую сумму. Прости меня, милая.

И[уфешти], 12 марта 1917 г.

Теперь по вопросу о войне и мире. Как отразятся на нём события? Я думаю, что мы стоим у преддверия мира. И вот почему.

Керенский в своей речи в Думе 15 февраля определённо заявил, что он считает необходимой подготовку общественного мнения в направлении ликвидации европейского конфликта и думает, что такая ликвидация возможна на основах самоопределения национальностей, затронутых войной. Эти принципы не могут не вызвать общего сочувственного к себе отношения, после того, как почва подготовлена и выступлениями Вильсона¹, и общей утомлённостью войной, и, наконец, внутренним переворотом, отвлекающим внимание от внешнего. Керенский представляет собою течения, если не господствующие, то, во всяком случае, сейчас весьма влиятельные. Аннексионистские стремления сейчас едва ли всплывут. Империалистические, представленные Милюковым, хотя и живы ещё, едва ли возьмут верх в настоящий момент. Одно дело лозунг, а другое дело его воплощение в жизнь. Замена на посту министра иностранных дел Милюкова Сазоновым², о которой мы только что узнали по слухам, доказывает, что прак-

¹ Президент США Вудро Вильсон стремился сохранять нейтралитет и даже предлагал воюющим державам своё посредничество. После того, как Германия, получив отказ на своё предложение 12 декабря 1916 г. приступить к мирным переговорам, возобновила в начале 1917 г. «неограниченную подводную войну», Вильсон взял курс на вступление в войну на стороне Антанты, что и произошло 24 марта (6 апреля нов.ст.).

² Сазонов Сергей Дмитриевич (1860—1927) — министр иностранных дел (1910—1916). Слух о замене Милюкова Сазоновым оказался ложным. В апреле П.Н. Милюкова

тическое чутьё взяло верх над теоретической принципиальностью. Ведь Сазонов очень трезво рассуждающий политик. Припомни хотя бы его беседу с журналистами в январе с.г.

С другой стороны, подъём волны демократического движения умерит аппетиты и в другом лагере. Широкие аннексии уже невозможны. Наконец, брожение умов, мало подготовленных к восприятию принципиальных идей здесь в армии, заставит поневоле считаться с возможностью некоторого ослабления строгой дисциплины в войсках, что может отразиться на ходе чисто военных действий... Если я окажусь неправым в этом последнем предположении, тем лучше. Но я всё же с этим считаюсь.

Всё это вместе взятое, все эти психологические моменты заставляют меня предположить, что вскоре будет найден общий язык, общая платформа для мирных переговоров. Не хочу я умалять и значение наших экономических затруднений, но решают вопрос, по-моему, не они. Изменилась психика людей — вот главное. Почва подготовлена. Тяжёлое экономическое положение не помешало Германии с полным напряжением воевать до сегодняшнего дня. Сильная воля всё преодолевает. У нас же теперь нет психологических оснований для напряжения своей воли. Не будет этих оснований вскоре и у Германии, если ей не придётся больше биться за своё существование как великой державы. Аннексиями теперь массы не увлечёшь. А решают, в конце концов, вопрос всё-таки массы, совокупная воля всего народа.

Милюков близорук, дальше носа своего не видит. Ему не место в ответственном Министерстве иностранных дел.

П[уфешти], 14 марта 1917 г.

Вчера мы ездили с Сергеем Михайловичем на санитарное совещание и вернулись оттуда поздно вечером, усталые. Прodelали 40 вёрст по скверной ещё дороге. А погода уже стоит дивная — яркая, солнечная, тёплая. Окна открыты настежь. Гуляем без шинелей. Кое-где в канавах ещё лежат остатки снега. Политическая весна на этот раз совпала с весной в природе. Это не хмурые октябрьские дни 1905 года...

Вчера всюду войска присягали новому строю. Я очень жалею, что не взял фотографический аппарат с собой и не увековечил этот исторический момент. А пока мы с С.М. были на совещании, здесь в П[уфешти], присягали наши команды совместно с командой одного из лазаретов. Присягали без нас, своих начальников. Обставлена присяга была торжественно, со священником, крестом и Евангелием. Священник уже приспособился к новому режиму и произнёс несколько прочувствованных слов. Небольшую, но яркую и выразительную речь сказал Сергей Гаврилович. Все подняли руки, и торжественно был прочитан текст присяги о верности и неизменной преданности Российскому государству как своему Отечеству, и обязательство повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему Российское государство и т. д. По предложению Сергея Гавриловича солдаты затем прокричали громкое ура новому строю. Дожили мы до этого, милая моя Шуручка!

на этом посту сменил М.И. Терещенко.

Здесь в тылу отношение солдат становится всё более и более сознательным. Есть время почитать газеты и обсудить их содержание. Говорят, что в некоторых полках на фронте присяга прошла бледно, без воодушевления, даже при равнодушном отношении. Трудно было ожидать иного. Ведь свободных слов солдат до сих пор не слышал. Не сразу ему может стать понятным происходящее. Но, в общем, с радостью я должен отметить, что здесь пока чувствуется со стороны солдат особое подчёркивание воинской дисциплины. Лица весёлые, честь отдают охотно. Не обижаются, когда по старой привычке вместо нового «вы» обращаешься на «ты». Сами ещё путают и совестятся говорить вместо привычного «ваше высококордие» и «ваше превосходительство» — «господин доктор» и «господин генерал». Всё это так ново, так необычно. Но интерес ко всему там в России растёт с каждым днём, и солдат подтягивается, сознаёт себя гражданином. Не все, конечно, далеко не все. Но число их растёт, и это так отрадно.

Я вчера вечером нашёл на столе твои два письма от 28-го и 1-го — последнее письмо, написанное ещё рабским языком, и первое письмо свободной гражданки. Всё же я вижу не только гражданку, очень и очень видна и просто женщина... Я так и думал.

Как мне обидно, что в старых наших письмах не могли отразиться наши надежды и чаяния, что в них видны только наше горе, пессимизм, наше отчаяние...

П[уфешти], 15 марта 1917 г.

Последние дни почта баловала меня письмами от тебя <...> Получил также и снимки с Иринки. Да, она растёт быстро, она уже не та, что была в первые дни. И личико теперь совсем человеческое, без намёка на наших отдалённых предков, как на первой фотографии, и глазёнки почти осмысленные, — тянутся к свету. <...>

Знаешь, какая у меня мысль явилась ещё в тот самый день, когда я впервые узнал о перевороте? Мне стало немножко обидно, что вот мы так и не дождались возможности легального гражданского брака, и пошли на компромисс с совестью. А ещё больше за то, что за несколько дней до свободы крестили Иринку. Это наследие старого порядка, которое она так-таки и получила... Надо ведь полагать, что не слишком много времени нас теперь отделяет от полной узаконенной свободы совести. Не хочу я верить, что возможен в этом отношении возврат к старому.

Сейчас я перечитал все письма от тебя, полученные за 8 дней пребывания здесь в П[уфешти]. Их всего 13! <...> Ты права, Шурочка: все эти предположения и страхи у тебя от любви к самоковырянию. Конечно, ни у тебя, ни у меня ничего не «оборвалось». Мы остались такими же, какими были, и наши отношения измениться не могут. Если мы находим друг в друге стороны, нами раньше не замечавшиеся, то тем лучше — понимание будет глубже. Я тоже люблю анализировать, ты знаешь, но как-то этот анализ не мешает мне жить. И, слава Богу!

П[уфешти], 16 марта 1917 г.

Сидим без известий. И так уж поздно приходят газеты. Последний номер К.М. от 9-го, а Р.В. всего только от 4-го! Вот видишь, как мы тут отстаём от событий. Вы там счастливые!

Я тут сижу над своей канцелярией, за которую наконец-то решил взяться серьёзно. Пора! Возни с ней будет очень много. Тоже скучно.

И ещё одна неприятность сегодня: пришло известие, что наш бывший корпусной врач В[ышемирский] умер! Всего только три недели как он нас покинул. Не пришлось ему долго пробыть на новой высокой должности. Хорошую по себе он у нас оставил память. Никогда у меня с ним не было ни малейшего недоразумения за все полтора года службы у него. Вспоминать о нём буду всегда с благодарностью. Доброе у него было сердце, незлопамятное. К подчинённым относился справедливо и сердечно, по-товарищески.

Скверно ещё и то, что нет у нас в тылу покровителя надёжного, охотно взявшего бы нас всех к себе. С Сергеем Михайловичем у него уже всё было условлено. Вчера ещё Серг.Мих. послал нарочного с письмом В[ышемирскому], в котором упомянул и обо мне. Теперь С.М. не знает, как ему быть. Вероятно, всё-таки теперь останемся здесь. Не повезло.

Невезучий день. Вот и Сергей Гаврилович вернулся с охоты без ничего. Не помню, писал ли я тебе уже, что с Серг.Гавр. мы перешли на «ты». Он мне сам предложил в порыве радостного чувства, когда читал газету, и мы с ним вместе переживали великие события. Славный он человек! Хотя мы с ним и разные люди.

Барченков со своим полком ушёл из нашего корпуса в тыл. Проезжал, говорят, вчера мимо, был в штабе, но не заехал к нам проститься. Бог с ним! Без сожаления расстаюсь с ним.

П[уфешти], 18 марта 1917 г.

Я вчера тебе не писал, так как товарищи меня уговорили (ей-богу, правда — долго уговаривали) поехать с ними в 59-й эпидемический отряд в город А[джуд], в восьми верстах отсюда. Есть у нас с начала января такой отряд. Там две довольно симпатичные докториссы-евреечки. Вот весь вечер мы там вчера и проболтали. Поехал я верхом. Вернулись к двенадцати часам ночи усталые. В общем, я не жалею, что был, но не чувствую и большой потребности вновь туда поехать. В гостях хорошо, а дома лучше. Старая истина.

П[уфешти], 19 марта 1917 г.

Сегодня наконец получил очередное письмо <...>, но не от свободной гражданки, а от больной жены и матери. <...> Ты опять хворает, опять расклеилась. И нет у вас дров, на дворе 15° мороза — вот и празднуй революцию... Какая нынче жестокая зима! Здесь тепло с конца февраля. Уже больше недели, как окна днём не затворяются, на солнце печёт, о шинелях уже забыли. Поля начинают зеленеть, жаворонки давно поют свои гимны солнцу. И как-то странно читать в газете, что под Питером метели, или у тебя в письме, что у вас 15° мороза. Надеюсь, что теперь, когда я пишу это письмо, и у вас, наконец, стало тепло, и вы не нуждаетесь в антраците.

И опять тебе тяжело... Не развеселили тебя даже великие события, обновление России. Опять перед нами всё тот же вопрос: когда, когда же мы будем вместе?.. И чем ближе кажется возможность, тем нетерпеливей становишься. Скорей, скорей! К развязке!

Я не жду многого от наступающей летней кампании. Мне кажется, что Россия уже не способна более на большое наступление. Теперь более чем когда-

либо — слишком поглощено всё внимание внутренними событиями. Вот где перед нами открывается широчайшее поле деятельности. Работы хватит всем на много лет вперёд! Не думаю, не верю, чтобы задержка осуществления внутренних задач могла бы компенсироваться какими-либо внешними приобретениями. Это мираж! Мир всё равно будет заключён на основе самоопределения пограничных национальностей, и побеждённых вполне не будет. И мне кажется, — не могу не согласиться с Керенским, — что на таких основаниях ликвидировать конфликт можно было бы и теперь. По крайней мере, должна быть сделана к этому попытка. Это необходимо до новых жертв. Лиха беда начать говорить, а там можно бы и сговориться. Впрочем, всё ещё далеко не все пришли к такому выводу... <...>

Боже мой! Да ведь нынче 19 марта! И как это я опять чуть было не прозевал! <...> Поздравляю тебя, милая, дорогая моя Шурочка, с днём рождения! <...> У нас уже немало своих семейных праздников: 16 января, 19 марта, 23 и 29 апреля, 5 мая, 2 сентября и 17 октября¹. <...> Когда же мы их отпразднуем все подряд вместе? И так много лет...

И[уфешти], 20 марта 1917 г.

Почта нынче богатая: два очередных номера К.М., три номера Р.В., Гаврилычу — два письма и две книжки журналов, а мне от тебя ни письма! Я огорчён. И почему такое?

Я нынче был в Р[угинешти?], где стоит интендантство, казначейство и почта. Получил там деньги. Отправил тебе 600 рублей, а 400 рублей отправил в Ригу. Вот как много! Провозился полдня и решил дожидаться вечера, чтобы забрать заодно и завтрашнюю почту. И вот такое разочарование. А я так хочу поскорей получить от тебя известия, как здоровье твоё и Иринки, и как вы воспринимаете новые впечатления при обновлённом строе. Какие у тебя с ним связываются надежды или опасения? Неужели у тебя ничего не найдётся по этому поводу сказать мне? Ведь ты не только мать и жена, ведь ты и гражданка... Ведь вы, женщины, теперь, вероятно, получите избирательные права. Мне хочется поскорей обменяться с тобой мыслями, впечатлениями.

И[уфешти], 21 марта 1917 г.

Писем нет, газет нет... А хочется побольше и того, и другого.

Солнце печёт уже немилосердно, совсем по-летнему. Каково здесь будет в июльскую жару? Вечер тёплый, тёплый. Луна светит ярко, ярко, не по-северному, а скорее по-холодачки. Кое-где начинают осторожно распускаться почки. С речки доносится любовное кваканье лягушек. А днём воробьи шумят, чёрт знает как. Одним словом, весна уже в разгаре. Недаром коллеги из лазарета, где мы обедаем, сегодня вечером, глядя на Луну, вели специфически «весеннюю» беседу. Я же, к счастью, ничего специфического не ощущаю. Весна на меня не действует. Я хочу только одного, и теперь больше, чем когда-либо, — взяться за серьёзную любимую работу. Хочу трудиться, только не над своей канцелярией...

¹ День рождения Ирины, день рождения и именины Ал.Ив, венчание, именины дочери, признание в любви, день рождения Фр.Оск.

Последние дни опять усиленно жужжат моторы и пропеллеры. Ждём ежедневно гостинца с неба, ибо объектов здесь в П[уфешти] немало, и очень даже удобных. А[джуд] уже пострадал, мы пока нет. Со вчерашнего дня недалеко от нас поставлены орудия, и сегодня уже шипели зловещие стаканчики. Летний сезон начался! Удовольствия много.

Сегодня здесь неожиданно появилась Катеринка¹. Она осталась в Н. при хлебопекарне. Собиралась вскоре поехать в отпуск. Она мне недавно ещё писала, что выезжает 18-го. Оказывается, что 17-го она получила из Киева телеграмму, не разрешающую ей выехать. Вот она и не знает, что делать, и вместе с хлебопекарней, которую тоже теперь перевели в П[уфешти], приехала сюда посоветоваться со мной. Я ей дал совет завтра же выехать в Одессу, где теперь находится её главное управление, и хлопотать там об отпуске. Всё равно ей ехать надо. Нет медикаментов, и необходимо обновить гардероб. Надо также уладить кой-какие семейные дела там, на Урале. Она меня послушалась и завтра выезжает.

П[уфешти], 22 марта 1917 г.

Знаешь, что я думаю? Я считаю, что освободившаяся демократическая Россия, не связанная ни обещаниями, ни планами старого режима, ни его вековыми связями и традициями, имеет не только право, но и обязанность перед собой и всем миром выступить с новыми мирными предложениями на основе самоопределения национальностей и отказа от всяких чисто империалистических задач, как-то аннексий, односторонних торговых договоров и т. д. Демократическая Россия не уронит своего достоинства, не потеряет своего престижа, а только выиграет. Она станет действительно нравственной силой в этой мировой войне, фактором, созидающим на развалинах европейской культуры. Правда, и раньше державы Согласия провозглашали высокие принципы. Но это был слишком явно только фиговый листочек, под которым скрывались всё те же тенденции и стремления, мало общего имевшие с истинными задачами культуры. Простое присоединение к России Армении и Галиции, раздел между великими державами Турции, отобрание у неё Босфора и Дарданелл, раздробление Австро-Венгрии, фактическое низведение Германии на ступень второстепенной державы — как назвать эти задачи? Это всё то же непризнание принципа автономности народов. Это взгляд на них как на средство для возвеличения и укрепления внешнего могущества собственной империи, то есть чисто империалистическая идеология. Необходимо решительно заявить о своём полном отказе от этих целей; тогда только фиговый листочек, то есть независимость Бельгии, Сербии и Польши, борьба с милитаризмом и т. д. станут не громкими трескучими фразами, как теперь, а в самом деле высокими принципами, за которые стоит бороться и страдать. И кому, как не русской демократии впервые во всеуслышание заявить об этом? Кому, как не ей, только что самой освободившейся, поверят народы?! Кто же, как не она, окажется действительно моральной силой!? Она может протянуть чистую незапятнанную руку, и она должна это сделать! Пусть даже такая попытка и не

¹ Катеринка — Екатерина Константиновна, сестра милосердия.

уверенчается немедленным успехом, но после такого заявления невозможными станут старые цели этой войны, поблекнет её идеология, так много хороших и трезво рассуждающих людей увлекшая, и воздвигнуты будут новые принципы настоящей демократии. Окрепнет демос, и ещё более расшатываются старые троны и правительства...

Поцелуй свободную Пузырку-гражданку.

И[уфешти], 23 марта 1917 г.

Вчера ещё я тебе высказывал своё мнение о том, что Россия обязана выступить с провозглашением новых принципов в этой войне, а сегодня мы получили номер К.М., в котором напечатан такой призыв «ко всем народам мира» от Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов¹. Оказывается, мнение моё было не одиноко. Нашлись люди, так же понимающие смысл совершившегося переворота. Это очень, очень отраднo. Призыв составлен в достойных, благородных выражениях. Нет ничего лишнего: ни пустых и громких фраз, ни бескровного теоретизирования со ссылками на Маркса и т. д. Написан он просто и искренне: «через горы братских трупов, через дымящиеся развалины сёл и городов мы протягиваем вам руку»... Как красиво и достойно. Он, несомненно, окажет своё влияние «во всех странах мира». Он повысит симпатии к русской революции, поднимет её культурную ценность в глазах западных народов. Его крупное политическое значение бесспорно.

И жаль того одного: почему этот призыв исходит не от официального представительства русского народа? Почему молчит наше Временное правительство? Или оно ещё лелеет мечты о Босфоре и Дарданеллах и не желает от них отказаться? Это сильно умаляет практическое значение призыва, делая его заявления необязательными при будущих мирных переговорах. Не обезоруживает он поэтому и германское правительство, не расшатывает его идейную позицию. Ссылка на опасность, грозящую Германии, остаётся в силе. И под этим своим фиговым листочком правительство Вильгельма может проводить и свои империалистические планы. Необходимо официальное авторитетное заявление нашего Временного правительства. К этому обязывает его не только новые принципы русской политики. К этому обязывает его и осторожная оценка момента...

*Cui prodest?*² Что мы можем выиграть в дальнейшем? И что можем потерять? Необходим трезвый расчёт. Я, конечно, не имею всех данных, чтобы судить безапелляционно, и не претендую на это. Но как внимательному наблюдателю для меня вырисовывается следующее: при доведённой до последних пределов старым правительством хозяйственной разрухе страны и финансовом её истощении, при крушении исторических авторитетов и отсутствии в широких массах полной сознательности, выдержки и самодисциплины мы вряд ли способны на большие достижения в этой войне, по крайней мере, соответствующие понесённым громадным жертвам. Потерять же можем ещё многое...

¹ 14 марта Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов обратился ко всем народам мира с призывом заключить мир без аннексий.

² *Cui prodest?* (лат.) — Кому выгодно?

С большой тревогой сейчас все взоры обращены на наш Северный фронт. Ведь громко кричит об этой новой опасности уже вся печать. А каково, если Учредительное собрание волей-неволей придётся созвать в Москве?..

Не можем же мы воевать до бесконечности, и судьба войны решится не позже нынешнего лета. Не остановиться ли, пока не поздно?!..

И[уфешти], 24 марта 1917 г.

Всё как-то странно. Несколько удивляет меня полное отсутствие в твоих письмах (по крайней мере, в тех, которые я получил) отклика на то, что сейчас переживает Россия. Я ищу гражданку, и нахожу пока только мать и жену... Мне это не совсем понятно. Я ведь знаю, как близко ты принимаешь к сердцу судьбу рождающейся новой и свободной России, знаю, как сознательно и вдумчиво ты относишься к событиям, и мне очень хотелось бы знать твоё мнение, твою оценку, услышать от тебя, каково настроение наших москвичей, каковы из надежды и чаяния.

У вас там другой мир. Вы там, может быть, иначе воспринимаете, чем мы здесь, на фронте. У нас создаётся такое впечатление, что там, в тылу сплошной праздник, сплошные красивые речи и призывы, а по существу, если не игнорирование, забвение массами задач фронта, то всё же несомненное отодвигание этих задач на задний план. Мы с большой тревогой читаем здесь газеты и не можем предаваться безраздельной радости. Мы видим ряд симптомов, указывающих на далеко не полное единение всех общественных сил. Мы видим не одно Временное правительство, а рядом с ним другое, неофициальное, которое многие здесь в армии считают самозванным, не выражающим её настроение и желания. Все сознательные элементы армии стремятся самым серьёзным образом к сохранению единения и дисциплины. Не подчиняющихся Временному правительству — нет и не будет. Но растёт тревога при виде того, как тыл, те солдаты пополнения, которые должны в ближайшем будущем вливаться в части фронта, дезорганизуются и самоуправствуют, по своему желанию демонстрируя, арестовывая, запрещая и разрешая, — и не встречая отпора, ни в народных массах, ни в правительстве...

Вся Россия знает, что нам предстоят решающие бои, жестокие бои. В несколько дней или недель не будет существовать нынешний состав армий, который, никто в этом не сомневается, сознательно и честно исполнит свой долг. Кадры исчезнут, и останется пополнение, пришедшее из России...

Ты знаешь, как далёк я от всяких агрессивных планов. Но, Боже сохрани, если германцы снова пройдутся, — и теперь уж как угодно, — по России! Это было бы большое несчастье, которое может очень дорого обойтись России. Мы все обязаны предупредить эту возможность.

У нас тут заканчиваются выборы депутатов от армии, которые должны будут в Петрограде перед Временным правительством выразить желания фронта. С техникой выборов тут, конечно, мало кто знаком. Среди офицерства они проходят не слишком оживлённо. Зато очень горячо и сознательно к ним относятся солдаты. Не сомневаемся (если только депутаты не заразятся настроением тыла), что доминирующий клич фронта, настоящей армии (не петроградских запасных полков) будет: «Не трогайте нас раньше времени; пусть у нас многое устарело и требует пересмотра, но коренная ломка сейчас невозможна. Она губительна

для дисциплины в армии в эти трудные дни, она не организует, а дезорганизует! Нельзя сейчас проводить голые принципы!»

Я не аннексист и не милитарист, но я люблю свою родину и не могу не видеть, что расшатанная дисциплина в армии знаменует собою анархию и полный развал в стране. Боже, сохрани нас от этого!

Далеко не нравится нам здесь на фронте настроение тыла, поскольку оно отражается в газетах. Быть может, мы ошибаемся? Шурочка, почему ты молчишь обо всём этом? Мы молчали два с половиной года. Наши письма не отражали наших общественных убеждений, наших взглядов на войну и её задачи. Нам приходилось ограничиваться намёками. Теперь мы можем и должны высказываться до конца. Пусть хоть к концу войны в наших письмах отразится эта сторона нашей души и наших отношений. Не знаю, как ты, но я не могу сейчас не чувствовать себя прежде всего гражданином, близко принимающим к сердцу судьбы своей родины.

Я мог бы сейчас с тобой говорить и говорить без конца...

И[уфешти], 26 марта 1917 г. Вербное Воскресенье

Получил уже поздно вечером 5 писем от тебя! Последние дни я тебе совсем не отвечал на твои письма, писал только по поводу событий. Сегодня хочу опять поговорить с тобой о наших домашних делах. <...> Очень меня интересует, удастся ли тебе заручиться квартирой в доме Чесаловых. Как было бы хорошо! Хочу поскорей переехать вместе с тобой. Устраиваться, зажить мирной культурной жизнью. Ведь скоро же это будет?..

Есть у нас некоторые признаки, по которым можно предположить мир уже в мае или июне! Подождём ещё немного — увидим!

На проезд мой к Пироговскому съезду ты не рассчитывай, милая¹. Это утомительно. Мы здесь живём далеко не таким быстрым темпом, как вы там. К тому же, я как санитарный врач вовсе не такая заметная величина, чтобы откомандировать сейчас именно меня. Не рассчитывай, милая, и на замену меня здесь кем-либо из тыловых врачей. Правда, разговоры об этом идут и у нас. Но, во-первых, улита едет, когда-то будет?! А, во-вторых, я тебе уже писал как-то, что я никак не могу считать себя врачом, подлежащим замене в первую голову. Ведь я прожил 9 первых месяцев войны в запасном госпитале, и здесь я тоже не в полку — полковые врачи считают нас тыловыми. Нет уж, Шурочка, будем лучше надеяться на благоразумие демократических масс и на их жажду мира. Скоро мы и так увидимся и больше не разлучимся! Ещё немного терпения.

Я очень рад, что ты, по-видимому, получишь ассистентуру у Циклинской². Ты знаешь, это именно то, что я считаю для тебя наиболее подходящим занятием. Как дружно мы будем работать, начиная с будущего сезона!

¹ Чрезвычайный Пироговский съезд состоялся в Москве 4–8 апреля 1917 г. полностью поддержал Временное правительство и высказался за скорейший созыв Учредительного собрания.

² Циклинская Прасковья Васильевна (1859–1923) — видный бактериолог, ученица И.И. Мечникова (в Париже), с 1908 г. — заведующая кафедрой бактериологии Московских Высших женских курсов, сотрудница Института бактериологии им. Г.Н. Габричевского.

И[уфешти], 28 марта 1917 г.

Ты, Шуручка, почему-то решила, что Пасху мы проведём вместе, и в каждом письме упоминаешь об этом. Мне горько читать. Ведь я не могу никак, несмотря на всё моё горячее желание, выбраться... Ещё дисциплина в армии поддерживается, уезжать самовольно не приходится. Зато я всё крепче верю, что скоро мы вернёмся домой окончательно. До полной ликвидации осталось немного времени. Все признаки за это. Не знаю, как вам там кажется. Тут это убеждение крепнет.

Ты пишешь об «опубликовании в сегодняшней газете» воззвания к народам мира. <...> А в номере Р.В. от 16-го этого воззвания нет. Я его прочёл в К.М. Ты, вероятно, тоже в другой газете. Почему Р.В. замалчивает такой, несомненно, крупный политический акт? Почему такая нетерпимость? Это обидно. Неужели уже углубляется рознь?

Ты пишешь о шипящей на левых интеллигенции и недоумеваешь. А я это шипение всё-таки понимаю и готов поддерживать. Ну, скажи, пожалуйста, неужели сейчас подходящее время для двоевластия? Я понимаю Совет рабочих и солдатских депутатов как совещательный орган, даже как контрольный, наблюдающий за демократичностью правительства, хотя, по-моему, нынешний состав этого правительства выше подозрений. Но я решительно осуждаю разлад, который с.р.д. вносит в среду армии, стремление его руководить армией, подписывать ей свои приказы и т. д., вообще все административные и даже законодательные функции, которые он берёт на себя. Он действует в интересах партии и класса, а не в интересах всей нации. И это при всей нашей некультурности грозит нам развалом и анархией. Мы сидим на вулкане, но взрыв этого вулкана уж не сулит нам новых свобод...

Дальновидное правительство, казалось бы, обязано учесть все пагубные возможности и, не дожидаясь этого развала, должно выступить от себя с авторитетным предложением мира без аннексий. Тогда можно будет с развязанными руками заняться внутренними делами. Боюсь, что этой дальновидности не окажется. Боюсь, что нам суждено дожидаться краха...

И[уфешти], 29 марта 1917 г.

В своём письме ты затрагиваешь как раз вопрос о том, почему ты почти не пишешь о политических событиях. С твоей мотивировкой я могу согласиться только отчасти. Конечно, я не хочу, чтобы ты перестала писать об Иринке или хотя бы менее полно рассказывала о ней. Нет, этого я никак не хочу. <...> Но, Шуручка, из газет я не узнаю о твоём отношении к событиям, о том, как ты воспринимаешь отдельные факты, что приветствуешь и что порицаешь. Конечно, я знаю общее твоё отношение к совершающемуся. Но мне этого мало. Ведь процесс образования демократического государства не закончен, а только начинается. Нас ждут ещё великие, решающие судьбу России, события. У нас здесь кругозор ограниченный, и газеты к нам доходят всё прежние: Р.В., К.М. Мы здесь многое можем не уловить, пропустить. А между тем мы вчитываемся и вдумываемся в каждый факт, в каждую мелочь и делаем свои заключения. Нам и в этом отношении необходимо живое общение с вами. А насколько мало газеты, даже Р.В., могут иной раз отразить настоящее настроение общества,

мы ведь знаем... Недалеко ходить за примерами. Вот и сейчас, хотя бы по вопросу о войне и мире, чувствуется, что официальное настроение, как оно рисуется нашим прогрессивным газетам, не вполне согласуется с преобладающими в обществе течениями. Может быть, я ошибаюсь, но мне по некоторым признакам так кажется.

Ты говоришь, что нигде не бываешь. Но ведь сама ты писала о полосе го-стей. Какие вы вели разговоры? Что думают москвичи? Посещение митингов, конечно, не нужно. Они никогда не выражают истинного настроения. Атмосфера митинга — искусственная, созданная, нарочитая. В ней никогда не рождается истина. Бог с ними.

Вот ты говоришь, что Витя¹ рассказывал интересное. Почему ты хоть вкратце не намекнула на содержание? Нам так нетрудно проверить наши собственные наблюдения. Можем ли мы обобщать их или нет? Ты теперь можешь и должна писать свободно. Слишком глубоко меня сейчас захватывает всё происходящее, чтобы я мог примириться с отказом от обмена мыслями с тобою. Мне необходимо это общение, пойми, милая!

Вот ты вскользь упомянула, что, по-твоему, Керенский — герой. Не живёт, а горит. Я вполне, вполне с тобой согласен. Я его и раньше, до переворота, ставил всегда высоко. А в последнее время, особенно после его знаменитой речи в Думе 16-го февраля возлагал на него все свои надежды. Хотел я ещё тогда писать тебе о нём по этому поводу, но смолчал по цензурным соображениям. Теперь же и я его считаю прямо героем. Это ему удалось соединить несоединимое: буржуазное правительство с пролетариатом. Это он в те дни спас Россию от анархии. И на него я рассчитываю, на его горячее сердце и холодный трезвый ум, когда надеюсь, что, возможно будет избежать и вторично угрожающей нам анархии. Да, он не живёт, а горит. Как бы он не сгорел слишком рано... Ведь здоровье его слабое. Год тому назад он перенес гнойный плеврит. А он России так нужен! Какая удивительная энергия в этом человеке! Вот кому потомство в первую очередь воздвигнет памятник. Вот истинный герой нашей революции, наш пламенно-холодный Дантон! <...>

Наша революция только разворачивается и уходит вглубь. Этот процесс так захватывает, так волнует... Я являюсь свидетелем гигантских исторических событий. Я ясно ощущаю, что в муках рождается новая эпоха в истории, что на новых началах перестраивается не только жизнь отдельных народов, но и взаимоотношение их, весь строй мысли, мышления людей.

Многое ещё неясно, не dokonчено, недосказано. Многое только намечается в тумане. Многое в самом начале искажается. Но входит в сознание что-то новое, для большинства людей неуловимое ещё, бессознательное. То новое, что и составит новую, лучшую эпоху в исторической жизни людей. Это не просто очередная революция в России. Это начало крушения всего умственного строя современной нам (или прошедшей уже?) культуры, вернее, цивилизации, доведенной до абсурда этой бессмысленной войной, этим гигантским преступлением, грехом против Святого Духа!

¹ Приехавший с фронта младший брат Ал.Ив.]

И[уфешти], 30 марта 1917 г.

Ты пишешь о Екатерине Ивановне¹, о том, что она страшно интенсивно переживает последние события. А разве можно иначе, Шурочка? Я уже писал тебе, что мы здесь вчитываемся в каждую газетную строчку, стараясь угадать, что сулит нам будущее, и что происходит за кулисами. Ты говоришь, что она вполне терпимо относится к левым партиям и ничего хорошего не ждёт впереди. Едва ли она права.

Я очень считаюсь с возможностью предстоящих нам крупных потрясений, даже периода полной анархии, но причину угадываю не в левых партиях, отказавшихся от слишком острой принципиальной постановки вопросов, а в стихийной некультурности масс, не подчиняющихся никаким партийным лозунгам (ведь в партии у нас организовано ничтожное меньшинство населения). Стоит только этим массам почувствовать тяжёлый удар бронированного кулака, и вся их временная сплочённость и сознательность может полететь к чертям! Конечно, и левые партии совершают крупные ошибки. Они не свободны от обвинения в том, что вносят ненужное и даже вредное брожение в армию, способное её лишить сплочённости и стойкости. Это сейчас преступление перед отечеством, перед ближайшим будущим России, и я никогда этого не одобрю. Но, в общем, не будь войны, не будь этой угрозы разгрома извне, я убеждён, что правительство и рабочий класс столкнулись бы.

Мы всё-таки многому научились с 1905 года. Даже с.-ры [*эсеры*] поговаривают о своём слиянии с с.-деками [*социал-демократами*]! Разве это было возможно тогда?!

Но разгром на фронте способен дать нам повторение 1871 года во Франции. Этого вот я боюсь серьёзно. Эта опасность для меня очевидна. И я считаю обязанностью нашего правительства выступить с предложением мира на основаниях, которые высказаны в обращении «к народам мира» Совета рабочих депутатов. Такое выступление должно бы, по возможности, исходить от всех держав Согласия. И я надеюсь, хочу надеяться, что Милюков ведёт эти переговоры о новых основаниях будущего мира. Вот это моё мнение.

Левые партии сейчас, по-видимому, достаточно благоразумны и сдерживают массы. Последние известия несколько уменьшили мою тревогу в этом отношении. Боюсь же я удара с фронта... Будет ли тогда, сохранится ли устойчивость, единение?... Сергей Гаврилович и тут, конечно, более оптимист, чем я. Но ведь и я не утверждаю, что будет непременно скверно. Я считаю только необходимым принять в расчёт такую возможность. А Временное правительство обязано всё учитывать.

Нельзя только спрашивать: что хочется? Надо и спрашивать: что можется?

Обо всём этом можно писать и писать! Материала хватит. Всё же я думаю, что тебе из писем этих стало ясно и моё настроение, мои мысли и предположения. С Серг. Гавр. мы много беседуем, и я, милая, хотел бы очень, чтобы ты присутствовала.

¹ Иванова Екатерина Ивановна — врач Владимирской (в советское время: Русаковской) детской больницы, активная общественница, подруга Ал.Ив.

И[уфешти], 1 апреля 1917 г.

Вчера я не писал тебе, так как вернулся очень поздно, после 12-ти часов ночи. Связался я с Сергеем Михайловичем, поехал с ним вместе в бричке. Пришлось с ним же и возвращаться. Были в Р[угинешти], в интендантстве и казначействе. Получили деньги. А потом зашли там же в 29-й отряд, где и застряли.

Любопытный вчера был день. У нас происходили выборы в Совет офицерских и солдатских выборных (есть теперь у нас такие). Собралось около 60 человек офицеров, врачей и чиновников. Записками были предложены кандидаты. Оказалось, что большее число записок получили два поручика и Сергей Михайлович! Один из этих двух поручиков снял свою кандидатуру. Тогда стало ясно, что Серг.Мих. имел все шансы быть выбранным. Тут запротестовало наше начальство и кадровые офицеры штаба. Стали доказывать, что врачи и чиновники имеют право выбирать, но не имеют права быть избранными. Между тем ясно сказано, что они «принимают участие в выборах на равных с офицерами основаниях».

И что же? Страсти стали разгораться, а начальник штаба вдруг заявил, что, к сожалению, он считает выборы не состоявшимися, запросит по телеграфу штаб армии, а сейчас объявляет заседание закрытым! Получился форменный разгон Думы! Не понимают эти люди только одного, что если раньше Сергей Михайлович имел только шансы быть избранным, то теперь его избрание вполне обеспечено. Ведь всё же и у нас преобладают прогрессивные и демократические элементы. Кандидаты-поручики тоже из прапорщиков с университетскими значками. Кадровые и так не пройдут. Они считают для себя оскорбительным, что врач может явиться их представителем! Вот видишь, и у нас уже разгорается политическая борьба вокруг имени Сергея Михайловича! Я его вчера прозвал *enfant terrible de la notre garnison*¹. Он здесь для многих бельмо на глазу. Человек он прямой и независимый, не подлаживается, только немного резкий. Но в общественных делах это не недостаток, а наоборот.

Сегодня я тебе высылаю 305 рублей. После 20-го хочу выслать ещё 300 р. На переводах я написал, из каких сумм составляются эти деньги. Несколько дней тому назад я взял, наконец, у корпусного врача удостоверение на получение тобою в Москве денег — квартирных и на наём прислуги. Он в тот же день выслал это удостоверение в Москву, воинскому начальнику. После 20-го поезжай в Крутицкие казармы², узнай, в каком отделе выдают ассигновки жёнам, предъяви чиновнику свой паспорт и получи ассигновку на квартирные деньги за целый год с 1 мая. Это выйдет 664 рубля! Деньги получишь в казначействе, на Воздвиженке. Прости меня, что я не сразу уладил все эти денежные дела. <...>

Мы уже имеем 220 р. в месяц. И как хочешь, а немножко и скопим ещё. Всё это пустяк, не стоит себе настроение портить. Ты думаешь иной раз, что мне трудно не тратить и даже швырять деньги, а между тем если нужно, мне очень легко ограничить себя. Я за будущее наше спокоен. Оно хорошее, светлое.

¹ *enfant terrible de la notre garnison* (франц.) — бешовое дитя нашего гарнизона.

² В Крутицких казармах находилось Управление московского уездного воинского начальника.

И[уфешти], 3 апреля 1917 г.

Поздравляю вас, мои милые дорогие Шурочка и Ириночка, с праздником Весны!¹ В этом году он и в самом деле светлый и радостный праздник. Правда, не кончена ещё война, и ещё через много испытаний придётся пройти нам всем. Но уже ясно виден светлый конец. Видно, что восторжествуют не тёмные, чело-веконенавистнические силы с их захватными и насильническими стремлениями, чего мы так боялись за все эти тяжёлые годы, а восторжествует правда, справедливость, признание и уважение чужих прав. И если мы раньше были свидетелями глубоко отрицательного, охватившего все слои населения, массового шовинистического психоза, готового, казалось, отбросить на многие десятки лет все культурные завоевания, то теперь мы присутствуем тоже при массовом психозе, быть может, тоже недолговечном, но глубоко отрадном по своему направлению и внутреннему содержанию. С его помощью мы можем сделать огромный шаг вперёд. И все признаки за то, что этот шаг будет сделан.

Возврата нет. Пройдут дни высокого подъёма, начнётся трезвая и трудная работа. После нас вырастет поколение, лишённое того размаха, того пафоса, свидетелями которого явились мы. Это поколение будет жить в лучших условиях, чем жили мы, но более трезвых, рассудочных. Так вынесем же мы из наших бурных дней тот святой огонь гнева и любви, который будет светить нашим потомкам и согревать их живительным весенним теплом, как наложили шестидеся-тые годы свой отпечаток на плеяду «шестидесятников», делая их в мрачные годы реакции Александра III центром всего живого в стране, всех идеалистических стремлений...

Мои письма тебе запаздывают по своему содержанию. Ты получаешь их слишком поздно. События идут так быстро. Вот наше правительство выступило с так страстно ожидаемым мною воззванием, в котором торжественно отрекается от всех агрессивных намерений, от всей империалистической идеологии старого режима². С какой прямоотой оно сознаётся в тяжёлом положении страны! Где тот искусственный и лживый язык изжившей себя старой дипломатии?! Какой размах! Какая глубина и какая нравственная сила в этих простых словах! Разве я не прав, когда утверждаю, что начинается новая эпоха всемирной истории? Каким анахронизмом звучат сейчас жалкие слова жалкого доктринёра Милюкова! Почему он ещё в правительстве? Почему он не уходит?.. И как велик Керенский! Какая сила в его выступлении в Совете рабочих депутатов!

Шура, какие дивные времена мы переживаем! Разве мы не вправе праздновать нынешнюю Пасху, праздник Весны и Возрождения?!!

И[уфешти], 5 апреля 1917 г.

Расскажу тебе, как провёл эти дни. Встречались мы с Сергеем Гавриловичем с товарищами из лазарета, у них. Сергей Михайлович поехал в Д[раганешти?] в штаб, где на службе в церкви присутствовали и все сёстры 29-го отряда, после чего они все вместе там же в собрании и развеялись. У товарищей из лазарета

¹ Пасха — 2 апреля.

² Воззвание Временного правительства к гражданам России 27 марта о заключении мира без аннексий.

оказалось несколько приглашённых румынских офицеров. Беседа с ними велась на французском и немецком языках. Настроение быстро стало повышаться. Стали провозглашаться тосты, сыпались остроты. Наконец, под граммофон румыны исполнили несколько танцевальных номеров, а затем началось по очереди румынское и русское хоровое пение.

Топлива, необходимого для того, чтобы настроение не угасло, было достаточно. Румыны, в конце концов, накачались и ушли с рассветом. А мы просидели ещё до семи утра.

Тогда я пошёл к себе в команду, где поздравил с праздником своих людей и ещё больше получаса беседовал с ними на текущие темы. Ещё раз объяснил им значение всего совершающегося. Только к 8 часам утра попал в постель.

Проснулся и встал в 12-м часу дня. Был, конечно, порядочно разбит. А тут оба Сергея потащили меня с визитами. После обеда мы втроём поехали сначала в г. А[джуд], в 59-й эпидемический отряд, а оттуда в Р[угинешти], в 29-й отряд. Они мне обещали, что вернуться к 8 вечера, однако засиделись до 12-и ночи. И в постель я попал опять только в 2 часа!

Оба отряда мы пригласили на второй праздник к себе. Они и приехали, частью уже днём. Сделали хорошую прогулку по тому берегу С[ерета], куда перешли через понтонный мост. Погода жаркая. Всюду сочная, ещё молодая зелень, цветут абрикосовые и вишнёвые деревья. Слышен вдали рокот первого грома.

Вода в реке ещё весенняя, бурлит и кипит. Хорошо!

Вернулись уже в темноте. В моей большой палатке, которую поставили в саду, организовали ужин. Разошлись опять только во втором часу.

И[уфешти], 6 апреля 1917 г.

Ты опять нервничаешь, дорогая, опять мучишься... Тут и материальные заботы, отсутствие денег, квартиры, дороговизна всех предметов и продуктов, тут и нравственные терзания, заботы обо мне и Иринке, сомнения в своих силах. Тут, наконец, и физическое недомогание... Что я могу тебе ответить? Я знаю, что будь я с тобой, все эти терзания сократились бы до минимума. Деньги — вещь важная. Из-за них сокрушаться не стоит. Квартира — вопрос сложный, но не безнадежный. Ведь ещё никто на дачу не выезжал. Во всяком случае, отчаиваться рано. Дороговизна — это те же деньги. Ты говоришь, что впереди у нас ничего. А ведь это неправда — у меня будет 100 р. в месяц, приюты дают тебе 50, а клиника даст тебе ещё 80. Этого, конечно, ещё недостаточно, но это не ничто! Вдвоём нам всё это не страшно. И деньгами ты меня никак не запугаешь. Так и знай. <...>

Ты сейчас почти только женщина, жена, мать. Но я верю, я глубоко убеждён, что это только временно. Ведь соединяет же жена Сергея Гавриловича вполне и удачно обязанности матери, жены, врача и гражданки. Она сейчас принимает очень заметное участие в общественной жизни своего городка и успевает всё соединить... <...> В силу необходимости тебе приходится почти не отходить от Пузырки. Что же удивительного, что ты воспринимаешь каждый её бессознательный плач за острую боль, что ты невольно рассматриваешь её как маленького взрослого человека. Конечно, в твоём душевном горе главный виновник — наша разлука. Пора, пора ей окончиться. И если раньше приходилось утешать без

веры в действительность утешения, то теперь я твёрдо, глубоко убеждён в близости нашего окончательного соединения. Не можешь ты, несмотря на весь твой прирождённый скепсис, не верить в него!

И[уфешти], 7 апреля 1917 г.

Ни писем, ни газет. <...> Ты так убеждена была почему-то, что я на Пасху приеду, и тебя почему-то уверил какой-то артиллерист, что посылки в Румынию не доходят, что ты мне ничего не послала к праздникам. На твоей совести грех, милая. А я-то рассчитывал... Тут недавно из Харькова была получена посылка уже на 9-й день! Вот видишь.

Пришли что-нибудь. Не надо ничего дорогого, не надо и много сластей. Если вложишь немного постного сахара, орехов и леденцов без бумажки, то и достаточно. Сверх этого можешь вложить номера «Искры»¹ за все последние недели. Вообще удачные номера со снимками событий. Ведь мы тут ничего не получаем. Очень заинтересовала ты меня несколькими экземплярами «Вперёд»² и «Социал-демократ»³. Мы были бы тебе очень благодарны, если и впредь будешь нам высылать всё интересное. Может быть, даже подпишешься за нас на что-нибудь. Всякое подаяние есть благо, и мы ни от чего не откажемся.

Можно, кстати, подумать о какой-нибудь популярной литературе и для моих ребят. Я им сегодня выписываю «Политическую популярную библиотеку» изд. Маковского⁴. Публикацию прочёл в Р.В., но выходят, вероятно, и другие подходящие издания. Хотя мы надеемся, что недолго будем ещё воевать, всё же посидим здесь ещё несколько месяцев.

В твоём письме от 23-го первый отклик на мои рассуждения о текущих событиях. Прав я: страшно опаздывают мои письма. <...> С тех пор, конечно, многое изменилось, и тебе уже нелегко соглашаться с моими тогдашними опасениями. Ведь отказался от них и я. Так же, как и ты, всю надежду на скорое и разумное окончание войны я возлагаю на левые партии, на их последовательность и энергию. Так же, как и ты, я отношусь к выступлениям Милюкова, и удивляюсь, как это он до сих пор находится на таком ответственном посту. Так же, как, вероятно, и тебе, мне странно и смешно читать самовосхваления съезда кадетов⁵ и их восторженные панегирики всё тому же Милюкову, который за 11 лет существования партии «не сделал ни одной ошибки»! Так же, как, вероятно, и тебе, речь Родичева⁶ кажется

¹ «Искра» — меньшевистская газета.

² «Вперёд» — меньшевистская газета, с перерывами выходившая в Москве в марте 1917 — феврале 1919 г.

³ «Социал-демократ» — большевистская газета, выходившая в Москве с марта 1917 по март 1918 г. После переезда в Москву советского правительства слилась с газетой «Правда» — центральным органом ЦК РКП(б).

⁴ Общедоступная политическая библиотека. Под общей редакцией Я.Д. Маковского. М., 1917.

⁵ Седьмой съезд партии народной свободы (кадетов) проходил 25–28 марта в Петрограде.

⁶ Родичев Фёдор Измайлович (1854–1933) — один из основателей кадетской партии и за красноречие прозванный её «первым тенором», член Государственной думы всех четырёх созывов.

мне далеко не достаточно значительной и интересной, чтобы распространять её в миллионах экземпляров, и заявить, что автором её «гордится вся Россия». Так же, как и тебя, меня заинтересовала статья Жаботинского об американцах, и я её прочёл товарищам. Так же, как и ты, я почувствовал фальшивые нотки в послании Вильсона¹. Так же, как, вероятно, и тебя, меня сейчас далеко не удовлетворяют Р.В., неизменно стойкие только в годы общественной реакции...

Но не согласен я с тобой и сейчас в том, что угроза взятия Петрограда немцем — только страсти для запугивания малых детей. Это угроза вполне реальная, и осуществление её было бы тяжёлым ударом для России, хотя, конечно, не для её молодой свободы. С этой угрозой правительство обязано считаться. Какие я отсюда делаю выводы, я тебе уже писал. Мне кажется, что равнодействующая будет найдена.

И[уфешити], 9 апреля 1917 г.

Третьего дня я писал тебе про кадетский съезд, высказал своё впечатление и мнение. А сегодня ты чуть ли не в тех же выражениях говоришь о самовосхвалении кадетов и т. д. Слава Богу, Шурочка, мы друг друга ещё понимаем! Я, как и ты, за кадетов голоса своего не подам.

А посмотри, насколько выше уровня своей партии стоят члены правительства Шингарёв² и Некрасов³. Прочти их речи на съезде, особенно горячую вдохновенную речь Некрасова с призывом не бояться социальных реформ, не бояться незаконченной ещё революции! Учти всё громадное принципиальное значение воззвания правительства о целях войны, о котором ты почему-то упоминаешь только вскользь. И сравни его с широким размахом жалкий лепет Р.В. в статье на ту же тему, которую я прочёл сегодня. Сознательно Р.В. закрывают глаза на великий шаг, сделанный правительством, стараясь представить его как холодный душ на горячие головы демократического пролетариата, под давлением которого он ведь и вообще-то опубликован, и стремится использовать это воззвание всё для той же цели, того же лозунга: войны до конца!

Разве мы друг друга не понимаем, Шурочка? И только в одном вопросе, мне кажется, мы с тобой расходимся. Ты, по-моему, недооцениваешь опасности нового нашествия германцев. Шурочка, ведь дальнейший захват ими нашей коренной территории, прибрежной полосы с портовыми торговыми городами не может считаться безразличным для России, независимо от её государственного устройства. Такой исход не будет также благоприятствовать торжеству новых принципов в Германии и её иностранной политике, доказывая их нецелесообраз-

¹ В своём послании к Конгрессу Вудро Вильсон с пафосом заявил, что оставаться нейтральным невозможно, когда на карту поставлены мир всего мира и свобода народов.

² Шингарёв Андрей Иванович (1869—1918) — земский врач, кадет, член Государственной думы, министр земледелия во Временном правительстве.

³ Некрасов Николай Виссарионович (1879—1940) — кадет, блестящий инженер, министр путей сообщения во Временном правительстве, затем заместитель министра-председателя и министр финансов, генерал-губернатор Великого княжества Финляндского, при советской власти — член правления Центросоюза, был репрессирован и расстрелян.

ность. С этой опасностью нам, конечно, необходимо бороться во имя будущего России, забывая о личном своём горе. Но так как эта дальнейшая борьба для нас, по моему глубокому убеждению, сейчас непосильна, и угроза скоро может превратиться в действительность (неудача на Стоходе весьма показательна!¹), то нам необходимо поскорей найти выход. Наша обязанность, наш проклятый долг поскорей столкнуться с союзниками и покончить миром на возвещённых уже основаниях.

Ещё это возможно. Потом, может быть, будет поздно. Это не будет лозунг «борьба до конца», это будет лозунг «борьба за скорый конец». Это нам диктуется простым холодным математическим расчётом. Добрая ссора никак не может оказаться лучше плохого мира. Преступны перед Россией те люди, которые и сейчас ещё поддерживают воинственное настроение. Не ведают, что творят.

Я верю, что Керенский, Некрасов и другие представители Временного правительства в союзе с Советом рабочих депутатов найдут быстрый и достойный выход из тяжёлого положения.

Пуфешти, 12 апреля 1917 г.

Это письмо должен лично тебе передать Сергей Михайлович. Вот счастливый! Как мне хотелось бы быть на его месте... Я тебе ничего рассказывать не буду. Всё должен рассказать он сам. Я его очень уговаривал остановиться у нас в Москве, если он не найдёт ничего лучшего.

Он боится стеснить тебя. Я же думаю, что ты, наоборот, будешь очень рада, и сказал ему об этом. Если ты его убедишь в этом, то, я думаю, он сам останется доволен. Ты ему можешь отвести кабинет. Там ему никто не помешает. Вход в другие комнаты на это время можно открыть из кухни. Ведь ты согласна со мной?

Я его уговариваю остановиться в Петербурге у Карлушки. Он его тоже хорошо примет. Хочу, чтобы он и тебе, и ему рассказал бы много про нас и нашу жизнь. Он и умеет, и любит поговорить. Уж он вам расскажет!

Он должен нам, с другой стороны, принести много свежих известий и впечатлений из России, так что и вы ему рассказывайте о себе. Я знаю, что тебе будет очень интересно повидать Сергея Михайловича. Он у нас тут в центре нашей маленькой частной борьбы за реформы. Боже, если бы я мог поехать вместе с ним! Держи его, Шурочка, не дай ему поселиться в другом месте. Ему у нас будет покойнее и непринуждённее, чем у Тарасевича или у Сац². Третьего дня мы его выбрали делегатом, а сегодня он уже едет.

Наконец, реформы начинают касаться и нас, медицинского ведомства. Утверждается даже принцип выборных кандидатов для замещения вакантных должностей в санитарных отделах, корпусных и дивизионных врачей! А наш теперешний корпусной врач, Рокитянский, из дураков дурак, не понимает духа времени и продолжает действовать по-старому, писать бесчисленные нелепые циркуляры, предписания и т. д. Впрочем, обо всём тебе расскажет Щастный.

¹ 21–22 марта противником был уничтожен Червищенский плацдарм русских войск на левом, западном берегу реки Стохода (Вольнь).

² В письмах Ал.Ив. упоминала о мадам Сац, проживавшей где-то за Пресненской заставой.

Расскажет и о том, что теперь нашим высшим начальством назначен Кирьяков! Лекарь без чина вместо тайного советника! Как меняются времена! <...>

Шурочка, тебе сейчас трудно справиться одной со всем хозяйством. Придётся всё-таки поискать ещё вторую прислугу. Часто это только вначале кажется столь неприятным. Няней ты, конечно, сделаешь Дуняшу¹, а искать придётся кухарку. <...> Нет, Шурочка, не будь такой пессимисткой во всех своих личных делах. Бери пример с меня. А за Иринку не бойся. Физически она развивается, по фотографии, прекрасно. А об устойчивости её духа мы ещё позаботимся, сейчас рано. Предпосылки все имеются, чтобы ожидать самого лучшего. <...>

Почему мы здесь считаем опасность, угрожающую Питеру, вполне реальной, спроси у Сергея Михайловича. Настроение армии вовсе не такое воинственное (говорят, что в наступление ни за что не пойдут, будут только обороняться), как об этом пишут в газетах. Старый вопрос: «а что слышно насчёт замирения» — остаётся сейчас самым злободневным. А пополнение вливается в части с совсем расшатанной дисциплиной. А дальше будет хуже.

Конечно, сейчас нам дозарезу нужен мир. Но кажется несомненным, что без уступки Курляндии, не говоря уж про Литву, мы его сейчас получить не можем. А на это даже Временному правительству трудно решиться. Создаётся заколдованный круг, из которого действительно трудно выбраться. Необходимо согласованное выступление в пользу мира всех держав Согласия, чего добиться пока, по-видимому, ещё трудно. Германия от аннексий совсем не откажется, это ясно. Она создаст самостоятельную Польшу и Литву, а Курляндию желает забрать как провинцию с провинциальной автономией. Если ей удастся продвижение на Петербург, она потребует и весь Прибалтийский Край.

Пока Россия управлялась царским правительством, я не мог протестовать даже против такого решения, так как для Прибалтийского Края такой переход сулил бы прогресс и культурное развитие. Сейчас я считаю, что на такую уступку свободная Россия может решиться только в случае крайней необходимости. Но я предвижу эту крайнюю необходимость...

Как выйти из этого положения?..

От Карлушки я получил письма, в котором он мне пишет об «активном» участии, которое он принимал в Питерской революции, и о своих мыслях и суждениях по поводу событий. Он, впрочем, писал и тебе. Что для нас был 1905 год, то для него будет 1917-й — яркое воспоминание молодости, начало политической зрелости, источник чистого вдохновения для будущей практической деятельности. Я рад, что и он пережил такой момент.

И[уфешин], 13 апреля 1917 г.

Вот мы вчера и проводили Сергея Михайловича. Когда он будет у тебя, в Москве? Вероятно, не раньше числа 20-го, но, во всяком случае, не раньше, чем дойдёт это письмо. Остались мы одни с Серг. Гавр. Живём мы здесь хорошо, дружно. <...>

После праздничного перерыва снова получили К.М. Интересны сейчас газеты! Кругом всё кипит и бодрит. Ничего ещё нет оформленного, всё в движении,

¹ Девушка из Вичуги, прислуга.

видны все движущие пружины, всё открыто. Много ещё ребячески наивного, много ещё неосознанного. Но много и горячего порыва, вдохновения, творческой работы. Что будет, что будет? Получится ли в итоге действительно свободная и счастливая Россия? Так хочется поверить в это! Но всё же временами охватывает душу тревога...

Но мир всё ближе и ближе. Вести из Австрии и Германии все подтверждают такое предположение. Австрия устала до последней степени. Также и Турция. Им только необходимо было себя застраховать со стороны России. Наш отказ от завоеваний даёт им эту уверенность. Болгария достигла всего, что ей было нужно. Она теперь объединена в великую Болгарию. Им всем нет больше смысла воевать.

Остаётся Германия. Что ей нужно? Россия ей больше не опасна, но у неё отняты все колонии. Чтобы получить их обратно, она должна иметь что-то в обмен. Во Франции ничего больше захватить нельзя. Роковым образом обстоятельства снова толкают её в сторону России. Но и её положение сейчас до крайности тяжёлое: пошатнулся такой устойчивый до сих пор её Западный фронт. Англичане и французы достигают всё больших успехов. Продовольственный вопрос всё обостряется. Даже «гениально организованный голод» всё же остаётся голодом. Недовольство народных масс всё усиливается. Германия не может не пойти на уступки, она должна сама искать мира. Франция от Эльзаса фактически отказалась и охотно пойдёт на мир. Англия? Она, по-видимому, ещё не всего добилась. Ещё нет уверенности в полном овладении всей Месопотамией. Она ещё не ищет мира. Всё же она одна воевать не может.

Необходимо от миролюбивых слов, которые в последнее время всё чаще раздаются, перейти к делу. Необходима смелость взятия на себя инициативы. И я думаю, что русская демократия и выдвинутое ею правительство найдут в себе эту смелость. Они не побоятся широкого размаха. Я жду от них действий в ближайшем ещё будущем. Неужели я ошибусь на этот раз?

Как тебе нравится заявление польского Государственного совета?¹ Польские магнаты боятся русской демократии и стараются от неё отмежеваться. Они хотят конституционную монархию и опираются на Германию, первой провозгласившую польскую независимость. Крепко рассчитывают они и на Литву, вообще великую Польшу! Что будет, что будет?..

И[уфешти], 14 апреля 1917 г.

Оказывается, Карлушка написал тебе всего только открытку. Мне он написал длинное письмо. Принимал будто бы «активное» участие в революции: развозил оружие, раздавал его населению, участвовал в обстреле, как он выражается, «фараонов» и до сих пор состоит, конечно, в милиции. Одним словом, работал. Можешь себе представить нашего рассудительного и представитель-

¹ В Декларации 16 марта Временное правительство признало необходимость создания по окончании войны независимой Польши, находящейся в «свободном военном союзе» с Россией, на основании решения Учредительного собрания. 6 апреля польский Временный Государственный совет, созданный в декабре 1916 г., заявил, что территориальный вопрос должен решаться не Учредительным собранием, а совместно в Варшаве и Петрограде.

ного Карлушку в роли революционера?! Курьёз! Письмо его тоже очень рас-судительное. «Русский народ уж так создан, что впадает из одной крайности в другую»; «по-моему, следовало бы подождать и не спешить»; «ещё Россия не освободилась от грязи, а она уже принимается за туалет: завязывает себе галстук и делает себе пробор». Каково? Как тебе это нравится? Ведь, правда, смешняк?

Бойтся контрреволюции. Ссылается на пример Наполеона III¹. Сокрушённо вздыхает: «Бог знает, не доживёт ли Франция ещё и до четвёртой революции». По-видимому, он думает тут о реставрации. Как всё это молодо и наивно! И как вместе с тем характерно не только для него, но для представляемой им национальности... Рассудочность и рассудительность выше всего! Чувство под контролем разума, или его суррогата — рассудка!

Впрочем, он малый хороший. Мне его письмо понравилось, и я ему послал подробный ответ.

И[уфешти], 16 апреля 1917 г.

Вот пришли к нам в гости три сестры из 29-го отряда, зашли Василий Михайлович и ещё один офицер-студент (зовут его Женя, и он очень славный малый), и мы все пошли гулять на берег [С[ерета]. Смотрели, как наводили понтонный мост. Погода была ясная, тёплая, люди хорошие, молодые, весёлые... Вернулись голодные. А тут как раз на ужин утки, убитые утром Сергеем Гавриловичем. Весело поужинали, чайку попили. А потом сестрицы начали петь. Это те самые сестрицы, которые заходили к нам ещё в Ниве. Все москвички. Поют они славно. Послушали мы их с большим удовольствием. Счастливые люди, кто умеет петь, у кого есть хоть какой-нибудь голос... <...>

Вот так я тебе вчера и не писал совсем. Прости, милая. Зато я гостям показывал альбом с нашими семейными фотографиями, хвастался. Очень понравилась Иринка-Пузырка, где она снята крупно, кругленьким шариком. <...>

Я думаю, Шурочка, что ты должна сейчас же взять квартиру в 150 р. на Пятницкой, не задумываясь ни на минуту. Если ты найдёшь другую, более подходящую, то всегда успеешь передать. Любители найдутся. А так всё-таки гарантия, что к осени не останешься на улице. <...> В крайнем случае, сдадим 1—2 комнаты (а сколько в ней комнат?).

Почему Карлушка едет в Юрьев, я тоже не совсем понимаю. Вероятно, там легче попасть на медицинский факультет. Я ему напишу и постараюсь перетащить в Москву. Вот нам и жилец, который нас не стеснит. Всё это не так уж безнадёжно. <...>

Мне кажется, ты напрасно страдаешь за Пузырку, что она должна будет провести лето в пыльном городе. Для неё это пока не так существенно. Пускай себе посасывает. Сама же ты говоришь, что я остался бы доволен, если бы увидел, как хорошо она процветает, такая весёлая и живая. Вот уж скорей тебе необходима деревня, это так. Ну, подождём ещё годик. Понемногу и выберемся.

¹ Наполеон III Бонапарт (1808—1873) — племянник Наполеона I, первый президент Французской республики, в 1851 г. совершил переворот, установив авторитарный полицейский режим, и в следующем году провозгласил себя императором.

И[уфешти], 17 апреля 1917 г.

Получил ответную открытку от Кольки Гефтера, где и он меня поздравляет с новым строем. Говорит о прекрасном праздничном настроении в Москве. Прекрасное — это мы понимаем, но праздничное??? Неужели всё ещё люди празднуют? Неужели не понимают, что ещё совсем, совсем не время праздновать? Надо работать упорно, чтобы развязаться с войной. Сейчас все силы общества должны быть устремлены в этом направлении. Придёт время, и мы попразднуем, но не сейчас, когда миллионы людей в культурнейших странах стоят перед призраком смерти, когда всюду голод усиливается, а общая дезорганизация увеличивается... Нет, рано мы празднуем, слишком рано!.. <...>

«Киевская мысль» мне последнее время нравится гораздо больше Р.В. Статьи более независимые, свободные от мелких страхов. Шире взгляд, более демократичен дух. Нет этого преклонения перед всем Милюковским, кадетским. Нет и узости наших крайних левых. К.М. стоит на широком пути настоящей демократии.

И[уфешти], 20 апреля 1917 г.

Я тоже не писал тебе два дня. Тоже не мог... И сейчас начинаю письмо с тяжёлым чувством. Ты несправедлива, Шура, и я твоего письма не заслужил. Я стараюсь быть спокойным и ответить тебе спокойно. <...> Откуда такое непонимание? Как это всё оказывается возможным? Ведь, казалось бы, мы знаем друг друга так хорошо!.. Ты меня упрекаешь в том, что я тебя мало знаю. Пожалуй, ты права, так как я не ожидал, не допускал возможность такого ответа... Я думал, что это дела давно минувших дней.

Как мне ответить тебе? Нет у меня уверенности, что ты поймёшь меня просто, что ты не истолкуешь мои слова превратно... Я думаю, что виноваты не ты, не я, а виновато наше разъединение. Будь я сейчас с тобой, не было бы таких горьких минут непонимания... Это пройдёт совсем, когда мы будем вместе, а сейчас всё-таки и больно, и горько... <...>

Что тебя так задело? В моих письмах последнего периода слишком большое место отводится общегражданским мотивам: «ведь там только речи гражданина», — восклицаешь ты, — «они представляют ценный материал для архива, но для меня нет. Так как я и без них хорошо знала, что ты именно так думаешь». Для архива, но для меня нет? Я писал для архива!.. Как горько это читать.

И всё-таки ты, как оказывается, не «знала хорошо», что и как я думаю, так как и я «тоже заразился общим духом», боясь вторжения немцев вглубь России и призывая всех предупредить эту возможность «усиленной работой для победы» (твой кавычки, ты будто бы цитируешь меня), в то время как ты считаешь созыв мирной конференции лучшим и честным противодействием этому вторжению.

Я заразился общим (то есть шовинистическим) духом!.. Я, гордившийся тем, что никогда за эти три года войны ни ты, ни я не поддавались этому общему духу, что мы не запятнали, как все, знамени европейской культуры!.. Это чудовищно! И ты утверждаешь, что я где-то написал, что грозящую России опасность можно предупредить только «усиленной работой для победы!» Для победы! В которую я определённо перестал верить с третьего месяца войны, когда мы ещё стояли

в Карпатах и будто бы угрожали Вене! Где, когда, в каком письме я писал что-либо подобное? Ведь этого же не было!!.. И разве я не доказывал во всех своих письмах, что у нас имеется один достойный выход — скорейшее заключение мира на основаниях свободного самоопределения национальностей!? Что необходимо созвать мирную конференцию и начать переговоры!?! Разве я стою на другой точке зрения, чем ты? И неужели ты можешь отрицать, что если германцы пройдут вглубь России и отторгнут Прибалтийский Край, то дело мира на вышеуказанных основаниях потерпит крушение, а самый мир затянется!.. А неужели ты можешь отрицать такую возможность? Для меня она вполне реальна, почти неизбежна...

И разве я меньше, чем ты, возлагаю все свои надежды на наши левые партии, на их организованное авторитетное выступление, на возрождающийся Интернационал? И неужели я в самом деле «немного заразился общим духом»?..

И я писал для архива! Мой недоумённый вопрос, почему в твоих письмах не нахожу или, вернее, почти не нахожу отклика на современные события, ты истолковала как упрёк тебе. Я тебя упрекаю! <...> Неужели это можно вычитать из моих писем?

Разве иначе так уж непонятно моё недоумение? Ведь даже тогда ещё, когда благодаря цензуре мы не могли в своих письмах высказываться откровенно, ты любила указывать мне на заинтересовавшие тебя статьи, и тебя радовало, когда убеждалась, что и я их заметил, и что наше мнение совпадает. И как же мне не удивляться, что теперь, когда кругом так много нового, когда всё в движении и когда говорить можно открыто, ты молчишь... Ведь я же знаю, что ты не перестала интересоваться общественностью, что ты так же интенсивно переживаешь это время. И разве так уж незаконно моё недоумение?.. Но где же, в чём ты увидела упрёк??? Неужели вопрос есть упрёк? Неужели я заслужил такое толкование?.. Ты споришь со мной, доказываешь, что пока длится война, не может быть красоты и радости, нет свободных людей, а есть только прокажённые духом, одурманенные лозунгом. Но с кем ты споришь? Со мной? Но разве я с тобой не согласен?

Конечно, я назову «политическим бесчестьем» то же, что и ты...

Вот ты пишешь, что тебе сейчас больно и тяжело говорить, как гражданка, и это настоящий твой ответ на мой недоумённый вопрос. Конечно, я могу понять, что ты не находишь в себе ещё достаточно спокойствия, чтобы говорить о нарождающемся объективно. Я тебя знаю и понимаю. Этот ответ вполне исчерпывает мой вопрос. И разве я могу тебя упрекнуть за такое отношение? Разве я тебя упрекал?..

И неужели в моих письмах «только речи гражданина», для тебя ценности не представляющие? Неужели там нет отклика на то, что тебя ближе затрагивает, волнует — нет стремления к тебе, к Пузырке, к нашей семье и нашей работе?.. Неужели ты мне поставишь в упрёк то, что временами меня захватывает наш бурный новый век, что временами он заслоняет всё другое?

Когда я тебе пишу свои мысли по поводу событий, я их ещё не нахожу ни в одной газете. Они для меня новые, волнующие, ещё спорные. Но к тебе они доходят поздно, для тебя они уже нечто прошедшее, только материал для архива... Я с этим слишком мало считался, в этом моя вина.

Что вызвало твоё бурное письмо? В чём центр тяжести? <...> Ты оскорблена тем, что я якобы предъявляю к тебе слишком много требований: «сколько обязанностей на мне лежит: мать, жена, врач, хозяйка, гражданка... С честью я, кажется, несу только одну, ради неё отказываюсь от всего»... И в итоге: «пусть Иринка в данную минуту будет только гражданкой». Какие крайности! <...> И кончаешь своё письмо словами: «пусть Ириночка не выходит замуж; слишком много страдания доставляет замужество»...

Каково мне читать это? После всего светлого, чистого, что уже позади нас и ожидает нас впереди... Больно.

И[уфешти], 22 апреля 1917 г.

Я сегодня получил от тебя следующее письмо от 7-го и бандероль с новыми московскими газетами. Не думай, что мы здесь совсем не знакомы с организационной и политической работой левых, и судим о ней только по буржуазным газетам. «Киевская мысль» ведь тоже левая газета, хотя и внепартийная, но меньшевистской окраски. В частности, «Социал-демократа» московского я уже знал довольно хорошо — почти все раньше вышедшие номера были присланы разом одному из товарищей, у которого мы их и взяли. Другие газеты в отдельных экземплярах доходят иногда с возвращающимися из отпуска товарищами. Да наконец, я ведь из тех читателей, которые умеют читать между строками и не поддаются красивой фразеологии. О том, что Р.Вед. меня теперь совсем мало удовлетворяют, я тебе уже писал.

Впрочем, всё это не то... Милая Шурочка, я не без некоторых колебаний сдал на почту своё последнее письмо. Я знал, что многое в нём тебя огорчит, и что кой о чём надо было бы говорить мягче... <...> Я должен был тебе ответить, Шурочка, по существу. Если я при этом был недостаточно мягок, то прости меня. Пусть это небольшое временное непонимание послужит нам лишним уроком.

И[уфешти], 23 апреля 1917 г.

День твоих именин! <...> Год тому назад я этот день провёл у родных. А ещё через 6 дней мы официально закрепили наш союз... <...>

Днём ко мне заехал Женя (я тебе уже писал о нём). Мы с ним пошли на Серет гулять на горку. Упражнялись в стрельбе из нагана. Он стреляет хорошо. Недаром он столько лет работал в подполье, сидел в тюрьме и т. д. Хороший он человек, но глубоко несчастный. Теперь спивается. Пошёл на войну добровольно, чтобы быть убитым. Сидел 14 месяцев в окопах, участвовал во многих атаках, — и даже ни разу не был ранен... Я его очень полюбил. Удивительно мягкий, чистый, редкой души человек. Устал он. Пропадёт ни за что. Cherchez la femme...

И[уфешти], 24 апреля 1917 г.

Сегодня я получил твоё письмо от 8-го и письмо от Лени от 7 апреля. «Впрочем, трудно остаться спокойным, и я уверена, что ты ответишь мне сурово», — так пишешь ты. <...> Ты сейчас находишь естественным и понятным, что мне хотелось делиться с тобой своими взглядами. Но я сейчас не могу, Шурочка. Мысль скована, не работает. Нет вдохновения. Как-то невольно вспоминаются

слова об архиве, для которого я пишу... <...> Я пишу, а сам оглаживаюсь: не проговориться бы! Не написать бы чего ненужного, неинтересного для тебя... И получается что-то нудное, не то что неискреннее, но скомканное, скованное...<...> Это, вероятно, скоро пройдёт, и я опять смогу писать тебе обо всём, что меня задевает, волнует.

И[уфешти], 25 апреля 1917 г.

Пишу только несколько слов. Едем сейчас с Сергеем Гавриловичем в М[эрэшешти?], где посланные нами товарищи-депутаты доложат нам о совещании врачей при санитарном отделе армии. У нас теперь повсюду организуются Советы: при дивизионном враче, при корпусном враче, при санитарном отделе армии, при начальнике санитарной части фронта. Вместо отказавшегося Кирьякова начальником санчасти фронта назначен Дзевановский¹, бывший санитарным земским врачом Таврического земства, тоже лекарь без чина! Начинает, наконец, и у нас проводиться принцип коллегиальности. Сергея Михайловича, когда он вернётся, тоже ждёт высокое назначение. Вероятно, он будет нашим начальником санитарного отдела при армии!

Очень много говорят о замене врачей фронта врачами тыла с привлечением женщин-врачей. Но я думаю, что конец войны так близок, что нас эта замена уже не коснётся. У нас, смеясь, рассказывают, что, по слухам, из тыла уже выехали первые партии врачей на фронт — всего три человека, да и то в запломбированном вагоне под охраной милиционера, чтобы не сбежали. И будто они, высунув головы из окон, грустно поют: мы жертвами пали... Как, вероятно, беспокоятся сейчас Эгизы и Колли! Хотя, впрочем, они и здесь сумеют устроиться.

И[уфешти], 26 апреля 1917 г.

Ты спрашиваешь, соглашусь ли я, чтобы к нам в дом вошла заведующая приютом Швецова². Ну конечно, Шурочка. Ты ведь её знаешь, считаешь её не только любящей детей и умеющей с ними обращаться, но и хорошим симпатичным человеком. К тому же она свободно говорит по-немецки (правильно ли?), более или менее интеллигентна. Разве можно сравнивать с няней! Только слишком уж мала ещё Иринка. Согласится ли с ней возиться? Вот вопрос. Но для тебя, для твоей врачебной деятельности, такое разрешение вопроса лучшее, что только можно придумать. Мне кажется, что нам нужно горячо ухватиться за эту возможность. Деньги найдутся, это не так страшно. Этим меня не пугай. Хорошая нянька не намного дешевле. Нам в семье, если только ты не задумаешь бросить медицину (отчего Боже сохрани!), всё равно не обойтись без надёжного третьего человека. Поговори с ней, милая, и реши. Я тебя на это благословляю.

¹ Дзевановский Антон Андреевич, начальник санитарной части фронта, бывший заведующий санитарным отделом Таврического губернского земства.

² В дальнейшем Маргарита Альфредовна Швецова — не только преданная бонна Ирины, которая звала её «Моминькой», но и близкий человек семьи до самой смерти в 1942 г. в Москве.

И[уфешини], 27 апреля 1917 г.

Почты никакой. Это всегда скучно. Вот уже несколько дней, как нет и газет. Случайно в лазарете от приехавшего из России достали номер «Одесских новостей» от 23-го. События в Петрограде!..¹ Я всё-таки выскажусь, Шурочка, хотя бы и для архива. Не могу иначе. Не могу же я, в самом деле, писать о румынской погоде, когда в голове совсем другие мысли... Предупреждаю, что никаких статей ещё не читал, а знаком пока только с голыми фактами, и то только за два дня. Быть может, уже многое изменилось, и начинается неразбериха, общая кутерьма...

Почему Милюков не ушёл раньше сам? Ведь ясно, что со своей идеологией он не соответствует демократическому духу времени. Он весь ещё пережиток прежних дней, старых настроений. Конечно, роль одного человека не так уж велика, но всё же он является какой-то занозой, которая колется и даёт нагноение, пока её не удалишь. Его имя уже стало нарицательным. Ему, кроме кадетов, да и то не всех, давно уж никто не верит. Он помешался на Англии и для неё, кажется, готов на всё. Сильно подружился он с Бьюкененом²... Ясно, что, в конце концов, ему придётся столкнуться с настоящей демократией. В этом столкновении я всецело, всей душой на стороне исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов. Он оказался на высоте положения. Он произвёл организованное давление на Временное правительство и тотчас же выразил ему доверие, как только оно пошло на уступки, тем самым не допустив до анархии. Призрак диктатуры пролетариата нам не грозит. Правительство у нас остаётся внеклассовым, национальным, но бдительный контроль демократии не даст ему нечаянно свернуть на узкий классовый путь защиты чисто буржуазных интересов. Урок едва ли пройдёт даром. Может быть, кое-чему научатся и наши большевики. Поймут, что лозунг диктатуры пролетариата пользуется столь же малым сочувствием, как и лозунг диктатуры буржуазии.

Каким жалким, трусливым (перед союзниками, конечно) духом пропитана была нота Милюкова к союзникам!³ Как виляла неискренне, как выворачивалась! Какой суконный дипломатический язык самого скверного пошиба! Грянул небольшой гром, и сразу атмосфера стала чище, хотя и не очистилась ещё. Быть может, когда дойдёт до тебя это письмо, уже будут опубликованы подлинники наших договоров с союзниками. Быть может, мы уже скоро будем знать, ради чего продолжаем воевать. Вот тогда атмосфера очистится совсем. Тогда можно будет окончательно сдать в архив старый дипломатический язык и старые навыки. Пора же, наконец, понять, что русская революция создала новые ценности,

¹ 20 и 21 апреля в Петрограде прошли многотысячные демонстрации солдат Петроградского гарнизона и рабочих с требованием мира.

² Бьюкенен, Джордж Уильям (1854—1924) — посол Великобритании в России.

³ В Декларации 27 марта Временное правительство подтвердило свою приверженность союзническим обязательствам. В своей ноте союзникам 18 апреля министр иностранных дел П.Н. Милюков заявил, что Россия будет продолжать войну до победного конца. Нота Милюкова вызвала взрыв недовольства в стране и спровоцировала апрельский кризис, в результате которого последовала отставка Милюкова и смена Кабинета министров.

что надо же бросить старые лозунги. Я глубоко верю, что дело мира в надёжных руках, и он уже не за горами.

Остаётся только ещё преодолеть инертность английской и французской демократии. Германская, я думаю, не преминет сказать своё веское слово в решительный момент. Как будто бы её влияние уже сказывается — ведь вот уже весна в полном разгаре, а боевые действия на нашем фронте не только не начинаются, но даже совсем затихли. Идут вполне определённые слухи, что наши солдаты решили только обороняться, но ни в коем случае не наступать. Германцы их уверяют в том же, объясняя частичное наступление на Стоходе местными условиями. Говорят, что ежедневно германцы и австрийцы подвозят к нашим окопам тюки газет, где их и сваливают. Я вчера имел в руках два таких номера: «Неделя», издающаяся в Вене для наших пленных, и «Газета-Серет». Составлены они очень ловко, доступным языком. Много говорится о близком мире и налаживающейся дружбе между Россией и Германией. Даётся много сведений о ходе нашей революции. Цитируется немало выдержек из английских и французских газет, неодобрительно отзывающихся о наших внутренних делах. Вывод напрашивается сам собой.

Ружейной перестрелки у нас нет. Лётчики бросают бомбы только в ответ на наши налёты. Недавно целая рота была в гостях у немцев в Фокшанах. Их привезли потом всех до одного пьяных и свалили у окопов!

И[уфешти], 28 апреля 1917 г.

Сегодня у нас совещание врачей, подчинённых непосредственно корпусному врачу. Нас немного; хорошо, если соберётся человек десять. Выбираем Совет при корпусном враче, делегата в армейский совет и делегата на фронтовое совещание. Вообще, в последнее время приходится всё больше выбирать. Идёт организационная работа, немножко скучная, но необходимая.

29 апреля. Так вчера и не окончил письма. Начали съезжаться товарищи. А наше заседание затянулось до темноты, когда почта уже была отправлена. Сегодня я получил от тебя письмо, получил и письмо от матери. Ты опять приуныла, моя милая Шурочка. И Ириночка опять захворала. Как тебе помочь?! <...>

Мать пишет по-немецки, так же писала и Лени. Надо же воспользоваться свободой слова. Устала и мать. Говорит, что хотя, быть может, и близок конец войны, она перестала верить в него... И страшней войны для неё призрак братоубийственных междоусобий... На старые свои годы она уже не рассчитывает на мир, покой и счастливые дни. Да, Шурочка, мы устали, через меру устали... Отсюда и мнимое непонимание...

И[уфешти], 2 мая 1917 г.

Вчера не писал тебе <...>, потому что утром был в интендантстве и на почте (между прочим, отправил тебе очередные 175 р.), а потом принимал участие в первомайском митинге при нашем штабе. Было любопытно наблюдать первое пробуждение политической мысли в солдатской массе. Настроение, против ожидания, оказалось довольно воинственным. Масса, конечно, ещё инертна, и настроение создаётся отдельными ораторами. Сергей Гаврилович с грустью констатировал, что для того, чтобы воздействовать на массы, необходимо обладать

одним качеством — уменьем врать! Он пробовал выступить с речью, но сочувствия не встретил. Его не понимали... Он не умеет врать... Я, конечно, сразу потерял всякую охоту выступать.

Как бы то ни было, если первый наш митинг и доказал, что уровень сознательности ещё весьма низок, то всё же самый факт, что заговорили молчавшие, высоко отраден. Многие из умерших до 1917 года многое дали бы за то, чтобы хоть одним глазком взглянуть на эту возбуждённую радостную толпу солдат, собравшуюся под красными знамёнами.

Всё ещё нет от тебя писем. Скверно стали доходить и газеты. Ждём возвращения Сергея Михайловича. Какие известия он мне привезёт от тебя? <...>

Не сгущай краски. <...> Я знаю, что сейчас у тебя много затруднений, что очень тяжело справиться. Но, право, мне как-то даже немного смешно стало читать твою горькую жалобу, что хлеб у вас стал продаваться затхлый. Милая, мы здесь давно уже позабыли вкус не затхлого хлеба! Это было когда-то давно, давно. Но стоит ли об этом говорить? Не будем создавать себе лишних огорчений, их и так много. <...> Призываю тебя, Шурочка, как только могу убедительно: будь мужественна! Крепись ещё немного! Не поддавайся настроению.

И[уфешти], 3 мая 1917 г.

«Всему есть предел, и я в последнее время прямо невменяемый человек. Боюсь, что война меня сломит окончательно и унесёт с собой всё дорогое, красивое...». Так ты пишешь в своём последнем письме. <...> Откуда это угнетённое настроение перед самым концом нашей долгой разлуки? <...> Не могу допустить, чтобы житейские мелочи, как бы неприятны они ни были, произвели такое разрушение в твоей душе. <...>

Я вижу в твоих последних письмах глубокое разочарование в наших взаимоотношениях. Я вижу, с одной стороны, отсутствие у тебя веры в себя, в способность свою увлечь меня своими интересами, своими переживаниями, с другой стороны — глубокую обиду за то, что я, по-видимому, не понимаю всей глубины твоих страданий и переживаний, что я остаюсь чужд, не понимаю всей невозможности для тебя сейчас интересоваться общественностью, что я предъявляю к тебе невыполнимые требования (вот и сегодня: «прости, милый, я опять не могу говорить о политике»...). <...>

Я глубоко, я свято верю, что наша общая жизнь будет красивая, светлая, единая. Не хочу я другой жизни. Всем, что есть у нас дорогого, призываю тебя: брось свой анализ! Больше веры в себя, в меня, в нашу будущность! Выше голову! Не дай сломить себя!..

И[уфешти], 5 мая 1917 г.

Сегодня первые именины нашей Иринушки. Какое бурное время! Как мало располагает к празднованию тихих семейных праздников. <...>

Сильно надеюсь, что приезд Серг.Мих. отвлечёт тебя немного от твоих мрачных дум. Он задержался. Третьего дня он из Одессы прислал телеграмму, просил полномочий выступить нашим делегатом на фронтовом врачебном съезде. Вчера мы собрались и дали ему эти полномочия. Съезд состоится 7-го. Продолжится, вероятно, дней пять. Ожидаем его не раньше 13—14-го. Тогда исполнится месяц

со дня его отъезда. Мы засчитали ему этот месяц как отпуск. Кроме него, в отпуску три наших товарища. Отпусками заведем мы сами. Моя очередь наступит уже в конце июля, через два с половиной месяца! Придётся, вероятно, всё-таки ещё до демобилизации приехать в Москву.

Составляются нами и списки для смены тыловыми врачами, да их что-то ещё не видно. Я думаю, что до этого момента нам здесь не дожить. Раньше дома будем.

Подписались на московскую «Власть народа»¹. Думаю, что эта газета заменит мне отставшие от жизни «Русские ведомости».

Сижу над канцелярией и проклинаю её.

И[уфешти], 6 мая 1917 г.

Не думай, Шуручка, что все твои заботы мне здесь кажутся пустячными. <...> Меня тоже очень огорчает, что Дуняша уходит. Это для нас большая потеря. Быть может, ещё как-нибудь этот вопрос наладится? Если нет, придётся искать с рекомендациями.

Это очень неприятно, но это ещё не несчастье. Квартирный вопрос меня не менее твоего озабочивает. С комнатой или хотя бы с двумя комнатами нам мириться нельзя, Шуручка. Не забывай, что самое позднее осенью я опять буду с тобой. Нам необходима квартира, какая ни на есть. Меня вот только удивляет, почему ты мне сообщаем о наклёвывающихся квартирах и ничего не пишешь о том, почему этого ничего не выходит. Квартиру на Пятницкой в 150 р. я снял бы, не задумываясь. Почему ты задумалась? Разве лучше жить в комнатах у чужой хозяйки, чем самому быть хозяином и сдавать 1—2 комнаты? Я тут не совсем всё понимаю. <...> Я не считаю твои затруднения пустячными, но мне кажется, что решаться на что-либо определённое надо быстрее. <...> Чтобы покончить с хозяйственными вопросами, прошу тебя известить меня, заехала ли ты в Крутицкие казармы, и в каком положении вопрос о квартирных деньгах. Кстати напиши мне, какие мои переводы ты получила. <...> Мой должник здесь вернул ещё 100 рублей. Я тебе их ещё не высылаю. Быть может, мне придётся, в конце концов, опять нанять кого-нибудь для приведения в порядок канцелярии. На всякий случай придерживаю их для экстренного расхода. Других расходов у меня здесь нет почти никаких, если не считать стол в лазарете, который обошёлся на Пасхальный месяц в 58 р., а обычно рублей в 30, не больше. Жду с нетерпением возвращения Серг.Мих-ча. Что он мне расскажет о тебе, об Иринке?

И[уфешти], 8 мая 1917 г.

Вчера я тебе не писал, так как до обеда по поручению корпусного врача ездил в интендантство, а сейчас же после обеда участвовал в санитарной комиссии. Так без меня и уехали на почту. После обхода комиссии я с товарищами пил у себя чай. А в 7 часов, когда они уже стали расходиться, является неожиданно приехавший из Одессы денщик Сергея Михайловича. Привёз он мне твоё письмо и посылочку. А нам обоим с Сергеем Гавриловичем письмо от Щастного и массу

¹ «Власть народа» — «демократическая и социалистическая газета», оппозиционная большевикам, изд. в Москве Е.Д. Кусковой.

всевозможных газет. Как приятно получать здесь на фронте вещественные знаки внимания с родины! Ей-богу, Шурочка, ты не должна задумываться, имеешь ли ты право высылать мне хотя бы конфеты... Я охотно даю это полное право.

Сергей Михайлович в своём письме пишет, что Эммочка [*сестра милосердия, приехавшая в Москву с фронта*] моё письмо тебе доставила слишком поздно, и ты не могла выполнить заказов. Не беда, ещё приятней ждать второй посылки дошла бы только. Спасибо за брошюрки. Я их тотчас же пожертвовал моим ребятам. Кроме того, Сергей Михайлович тоже прислал брошюрки. Занимается политическим образованием своих земляков. Серая они масса! Ничего почти не понимают. Необходимо всё им растолковывать, пережёвывать. Есть и такие, которых не заинтересуешь ничем. Хотят домой, да и только. Борьба с темной масс самая тяжёлая и ответственная. <...>

Про Иринку Серг.Мих. пишет так: «С удовольствием два вечера провёл у Ал.Ив.; видел дочку — великолепно и умна не меньше папаши. Сосёт кулак, смеётся и «трубит» на всю комнату (я говорю А.И., что это в мою честь)». Ай да Иринка! Осрамила нас перед публикой! Жду с нетерпением очередных снимков с Иринки.

И[уфешти], 9 мая 1917 г.

Мы с Гаврилычем читаем ворох всевозможных газет. Любопытно разбираться в оттенках направлений. Понравилась и мне «Новая жизнь». Тон газеты серьёзный, вдумчивый, далёкий от выкриков истерической, ничему не научившейся с 1905 года «Правды». Эта «Правда» будет почище «Социал-демократа», которого я просматриваю с интересом. Он прямолинейный и грубоватый, наивный. К сожалению, эта грубоватая прямолинейность импонирует некультурной массе больше всего. Очень хочется поскорей получить выписанную нами московскую «Власть народа». Тогда прощай «Русские ведомости»! Выдохлись вы! Старость ваша подошла, не понимаете вы новой молодой жизни!

Да, Шурочка, честь и хвала нашим социалистам, борющимся упорно за восстановление всеобщего мира, несмотря на почти полную изолированность свою в этом вопросе. Что же касается англичан, то английские социалисты, которых, правда, не много, с начала войны относились к ней отрицательно и борются с ней ожесточённо. Английская же Рабочая партия никогда не была по существу социалистической. Она узкая представительница чисто профессиональных интересов и заражена чисто английским духом — упорным и деятельным эгоизмом. Да, свободу они любят, но только для себя. До других им дела нет. Не ищи у них идеалистического порыва. Это сухие практики, совершенно чуждые по духу русским, хотя Милюков и нашёл большое сходство в национальных характерах.

Со вздохом облегчения мы здесь узнали об образовании коалиционного министерства¹. Давно пора! Сделан большой шаг в сторону от анархии и ближе к миру. Нет больше доктринёра Милюкова и сеющего панику Гучкова². Молодец

¹ 5 апреля было сформировано коалиционное Временное правительство с участием социалистов. П.Н. Милюков и А.И. Гучков ушли в отставку.

² Гучков, проводивший на посту военного и морского министра реформу армии, неоднократно предупреждал об анархии и разложении армии.

Керенский, в первом же своём приказе заявивший, что отставок начальствующих лиц не принимает. Так и надо. Нечего распространять панику и кричать: Россия на краю гибели. Надо вносить разумную организацию в стихию. В этом весь секрет удачи революции. Но для этого необходима упорная работа, а не малодушие.

Ты замечаешь, Шурочка, как доктринёрские лозунги в социалистических партиях мало выдвигаются по сравнению с 1905 годом (кроме большевиков), а с вступлением социалистов в правительство ещё более отодвигаются на задний план. Как это хорошо! Ведь мы понемногу делаемся взрослыми и выходим из пелёнок. Пора!

А у нас тут советы и комитеты!.. Понемногу публика привыкает к новым порядкам.

И[уфешти], 11 мая 1917 г.

Я серьёзно занялся канцелярией. Вошёл-таки в соглашение с делопроизводителем соседнего лазарета. Он пришёл и вчера за несколько часов сделал столько, сколько мне не сделать бы при усидчивой работе и в две недели. Теперь дело пойдёт на лад. Я едва успеваю подбирать ему необходимые материалы. Но как это скучно, Шурочка!.. Главное, что лишает охоты заняться чем бы то ни было другим. Постоянно над душой эта канцелярия. <...>

Получил открытку от Раф.Мих. Левитского. С трудом разбираю его крючки, хотя и не все. Во всяком случае, понял, что он уже не в госпитале, а как он выражается, «старшим писарем» у хирурга VII армии, в канцелярии санитарного отдела. Тоже весёлое занятие. Николай Покровский переведен в полк. Аптекарь Мкртич Саркисович остался там до сих пор. Рафаил просит передать тебе самый низкий поклон, что сим и исполняю. Надеется встретиться с нами после войны в Москве.

Знаешь, Шурочка, сегодня Сергей Гаврилович получил телеграмму от жены, что она выехала к нему из Лебедина¹. Он давно уже выслал ей пропуск, но казалось уже, что ей не удастся выехать в скором времени. Она так завалена организационной работой у себя в Лебедине, являясь вдохновительницей различных новых организаций. Посмотрим, какую свежую струю она внесёт в наше общество. Я рад буду с ней познакомиться поближе. В Ровно я её мельком видел только два раза, но она мне очень понравилась. Счастливый Сергей Гаврилович! Мне вот приходится опять ждать отпуска или окончания войны, чтобы встретиться с тобой... Всё ждём и ждём. Всё ещё у нас в будущем...

Все с одинаковым интересом следим за событиями в России. Особенно довольны военным министром Керенским.

И[уфешти], 13 мая 1917 г.

Ты теперь очень мрачно глядишь в будущее, и так же смотрит Вилли. В первые дни революции я всё видел сквозь розовые очки, но тогда ты со мной не соглашалась. Теперь наоборот, я не считаю возможным ударяться в чрезмерный пессимизм. Он, по-моему, тоже не совсем оправдывается обстоятель-

¹ Лебедин — уездный город Харьковской губернии.

ствами. Был, правда, момент, когда я сильно боялся за будущее — это тогда, когда казалось, что коалиционное правительство не будет осуществлено. Это опасение оказалось напрасным. Тревога, конечно, остаётся — слишком взбаламучено море русской жизни, но отчаянию не должно быть места. Среди социалистов большинство оказалось государственно мыслящими людьми. Есть среди них крупные таланты: Керенский, Церетели¹. Процесс организации страны делает большие успехи. Фронт наш не поколеблен, и колебания не предвидятся в близком будущем, ибо германцев почти не осталось (сравнительно, конечно). Даже кадеты оказались достаточно здравомыслящими (Некрасов, Шингарёв). В армии тоже значительно трезвей рассуждают, чем прежде, хотя я в наступательную её способность продолжаю не верить. Всё это говорит за то, что анархии, которая уже объявилась, будет положен предел. Мир, я не сомневаюсь, несмотря ни на что, уже не за горами. Ведь психологически война изжила себя, а это главное. Продовольственная разруха по некоторым признакам уже достигла крайних пределов, и в будущем, как кажется, можно ожидать значительного улучшения продовольственного дела. Конечно, я не закрываю глаза на противоположные факты, вроде Мценских беспорядков, аграрных волнений, увеличения числа грабежей и разбоев, дезорганизаторских шагов некоторых крайних партий, голода в городах и т. д. и т. д. Но это всё, при несомненной серьёзности, не должно вселять в нас панику, которой поддался Гучков.

Прав Керенский: никаких отставок — это бегство от ответственности. Мы должны удвоить, утроить организационную работу, сплотить всю страну в мощные союзы, проводить прямолинейную демократическую политику, без экивоков в сторону союзников, — и успех будет наш.

Великий сдвиг совершился. Пускай в панике, в ужасе перед величием задачи пасуют «Русские ведомости» и иже с ними. Маловверные они! Не надо бояться ошибок. Не надо из-за них не видеть большой положительной работы. Великие идеи всегда, в конце концов, побеждают.

И[уфешти], 14 мая 1917 г.

Иринка растёт, и рост этот хорошо заметен на снимках. <...> Мы сумеем ей дать много, больше, чем многие интеллигентные родители. Мы ей создадим здоровую духом, сплочённую семью. <...>

Сегодня должна была приехать жена Сергея Гаврилыча, но почему-то её ещё нет. Мы с Гаврилычем сегодня купались в Серете. Течение такое быстрое, что невозможно плавать, невозможно даже удержаться, стоя по пояс в воде. Но вода дивная, около 18°.

Вообще дни пошли жаркие, летние. По утрам, как водится, гудение пропеллеров и разрывы шрапнелей. Однако конфет нам не бросают. К концерту этому мы все слишком уж привыкли.

¹ Церетели Иракий Георгиевич (1881—1959) — видный меньшевик, член Исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, министр почт и телеграфов во втором составе Временного правительства, сторонник «революционного оборончества».

И[уфешти], 16 мая 1917 г.

Не знаю, ни как тебе отвечать, ни что ответить!¹... Чувствую только, что навалился на меня тяжёлый камень и давит, давит... Хожу я как в тумане, плохо соображаю. И устал я тоже как-то сразу, даже физически. И чувствую, как ко мне опять возвращается та тупость ощущений, которая мною овладела было в декабре и в начале января... Повторится ли только так же и очищающий поток слёз? Не знаю. Впрочем, это всё равно.

Я, оказывается, верно почувствовал: ты стала меня ненавидеть. Вероятно, так и надо, и есть за что. Почём я знаю. А так как я, кажется, всё тот же, то, по-видимому, ты раньше во мне кой-чего не замечала. <...>

Я не понимаю; да, не понимаю. И мне совестно в этом сознаться. Я не понимаю, почему ты меня начала ненавидеть... Я понимаю всё остальное. Понимаю твою нестерпимую боль, твоё ожидание, все твои муки, но не понимаю этой ненависти и знаю, что это непонимание грозит мне ещё большим презрением с твоей стороны. Ещё больше ты убедишься в моей нечуткости.

Откуда эта ненависть? Зачем, за что?

Вот приехавший сегодня Сергей Михайлович рассказывает, что его поразили при прощании сказанные тобою слова: «Все, все вы, мужчины, эгоисты, и связывать себя с вами не стоит!».

Снова ставлю вопрос: какой процесс разрушения происходит в тебе? Ведь ты уже дошла до той последней черты, о которой я писал в том своём письме, которое ты не получила. Тебе почудились в нём суровые слова и упрёки по твоему адресу, а оно было полно только горького недоумения. Я заставил себя считать твои письма только плодом временного подавленного настроения, хоть я чувствовал инстинктивно, что в тебе происходит более глубокий процесс, несравнимый с прежними вспышками отчаяния. Процесс этот в основе своей мне непонятен. Я чувствую только, что становлюсь тебе всё более и более чужим. Мои слова до тебя не доходят, а если доходят, то в извращённом виде. <...> Тебе нужна ласка, тепло... В моих письмах ты её не чувствуешь... Утерян общий язык. Мне кажется до невероятности диким писать это, но, по-видимому, это так. Почему? Не знаю. Ты не видишь отца нашей Иринки, не находишь своего мужа; ты видишь только гражданина..., и гражданина, который осыпает тебя упрёками и суровыми словами, пишет такие жестокие письма, что сам же не выдерживает и с волнением отдаёт их на почту...

Да, с волнением, Шурочка, так как я горестном волнении звал тебя: куда тебя доводит твой губительный анализ? До какой последней черты ты приближаешься? Опомнись! Во имя прошедших чудных мгновений, так много сулящих нам в будущем, во имя нашей Иринки, Шурочка, оставь свой анализ! Он разрушает, он не создаёт... Как же мне можно было не волноваться?..

Я не могу оправдываться, ведь ты всё равно меня поймёшь превратно. Ты утратила доверие. Ты ненавидишь меня порою. Я не могу говорить тебе тёплых слов участия, ласки, — ты моей помощи не примешь. И я молчу, не могу говорить... Я так глубоко всегда верил в вашу семью, в её будущность; впервые я колебался в своей вере. Не знаю, как ты меня встретишь по возвращении...

¹ См. письмо Ал.Ив. от

У меня в груди сейчас какая-то пустота. Даже плакать не хочется. Состояние такое, как будто стоишь у разбитого корыта. Выхода я не знаю больше, ибо не могу учитывать всего — ведь я тебя не понимаю, а мои слова до тебя не доходят. Где же выход? Ничего не знаю. Да мне сейчас и всё равно. Я устал бороться за своё счастье.

И[уфешин], 19 мая 1917 г.

Как тяжело мне писать тебе, Шура! Вот я получил следующее твоё письмо от 6-го мая. Я не нахожу в нём моей прежней Шурки. Это какой-то совсем другой, почти чужой человек... <...>

Ты мне пишешь просто, что тебе мне ответить нечего, что ты можешь писать только о том, что так или иначе касается Иринки. И ты просто перечисляешь всё то тяжёлое, с чем тебе приходится сталкиваться, вплоть до возможности быть ограбленной в своей квартире.

Это есть простое перечисление, это не желание со мной поделиться и обща найти выход. Прости меня, Шура, но даже и сейчас тот глубокий тяжёлый кризис, который переживают наши отношения, волнует меня больше, чем возможность ограбления нашей квартиры. Что мне, в конце концов, личная твоя безопасность, недостаток или даже отсутствие мяса и хлеба, квартиры и прислуги, трудность найти баню и т. д. по сравнению с крушением самого основного — мечты о сплочённой, единой, цельной семье!.. Разве я могу тут сравнивать! Пойми же ты меня! И разве Иринка не плоть от плоти нашей, разве ты можешь думать, заботиться о ней, о её процветании и отделить эти думы и заботы от мысли о нашей семье, нашей общей жизни? Ведь мы же неразделимы, неразделимы! <...>

Разве я могу отрицать всю тяжесть внешних условий? Конечно, нет. Ведь мы тут тоже голодаем: хлеб затхлый, едим не каждый день протухлую солонину и полусгнившую рыбу. Нет даже картошки. Цинга принимает ужасающие размеры, прямо косит. Я всё это знаю не хуже тебя и страдаю за вас. Но это всё в другой плоскости, сравнительно несущественно перед основным. Неужели ты меня тоже не понимаешь? Ведь пойми, что разрушается почему-то, я не знаю, не понимаю почему, наша семья! Что мне тут мясо и хлеб!.. Я мучительно ищу причину. И чувствую только во всех твоих письмах по отношению к себе в лучших случаях непонимание и недоверие, в худших — презрение и даже глухую ненависть: все вы, мужчины, эгоисты!.. Почему? За что? За то, что я писал «гражданские» письма? Будь они прокляты, если это они восстановили тебя против меня. <...>

Что квартира! Нет её в Москве, голодно в Москве, так брось Москву! Поезжай в Вичугу к Оле¹. Там будет и квартира, и хлеб, и мясо. Если это нужно, мы так и поступим. Разве квартира важнее, чем цельность нашей семьи? Разве мы пропадём оттого, что ты не будешь летом работать в Морозовке? Времена исключительные, и решать приходится исключительно. Нет положения, из которого не было бы выхода.

¹ Село Вичуга Кинешемского уезда Костромской губ. — родина Александры Ивановны. Ольга — её сестра.

И[уфешти], 21 мая 1917 г.

Моя Шурочка. Я вчера получил твоё письмо от 7 мая. Моя дорогая Шурочка. Как бы нам это сделать, чтобы не было между нами дней непонимания, дней горечи и обиды? <...> Не обращаем ли мы слишком большое внимание на мелочи, забывая о главном, основном?..

И[уфешти], 22 мая 1917 г.

Шурочка, как необходимо нам повидаться! Ведь все эти «недоразумения» и «непонимания» не просуществовали бы и сутки! Разве не так? И как это только начинается? А потом не выпутаешься.

Как это странно: раньше не было Ириночки, не было этой надёжной, крепкой спайки, и всё же раньше эти «недоразумения» не были столь глубоки, как в этот раз. Ох, эти три года войны! Как я ненавижу её! <...> Шура, крепись, возьми себя в руки. Ведь мир так близок! Неужели не дотерпим? Неужели с Иринкой стало тяжелей терпеть? Не поддадимся, милая. И не будем разрушать нашей веры друг в друга.

И[уфешти], 23 мая 1917 г.

Часто мне сейчас вспоминается июнь прошлого года. Тогда ты была у меня. Сейчас у Сергея Гавриловича его жена, Людмила Львовна¹. Она тоже приехала под флагом Земского союза, и её тоже запрягли по-настоящему в 29-й отряд, на место уехавшей в отпуск Софочки. Но, вероятно, она оттуда сбежит через несколько дней. Пока же ей там приходится очень тяжело. Много тяжёлых больных, исключительно экзантематиков. Так она не отдохнёт. Показывал я ей наш семейный альбомчик. Ей особенно понравился снимок Иринки от 15 февраля, где она тянется к свету. Несмотря на то, что Л.Л. здесь уже с неделю, мы здесь ещё ни разу не устраивали таких общих вечеров, как бывало в июне с тобой. А человек она любопытный, хотя по натуре и мало похожий на Сергея Гавриловича.

Сергей Михайлович, в общем, мало рассказал нам о своей поездке. Он тоже, как почти все, поддался панике и видит всё в самых мрачных красках. Грешешь в этом и ты. Как вначале ты, по-моему, недооценивала опасности, так сейчас её переоцениваешь. Видишь только отрицательное, которого, конечно, много, и не замечаешь созидательного творческого труда. Впрочем, города, по-видимому, вообще дают более мрачную картину.

Вот Л.Л. из своего уезда сообщает почти только о хорошем, радующем. Не так страшен чёрт, как его малюют. А перепуганный обыватель, которому уподобились и кадеты, и «Русские ведомости», очень старается в этом отношении.

Нет, я не принадлежу к растерявшимся перед великой задачей. Я не боюсь взбунтовавшихся рабов, я верю в силу и организованность сознательных свободных граждан; правда, не масс, а только единиц, но бывают моменты в истории, когда воля единиц, чистота стремлений их и идейность их порывов направляют ход её, увлекают массы...

¹ Матвеева Людмила Львовна — врач ВЗС.

Нельзя ли как-нибудь привлечь в нашу семью Маргариту Альфредовну¹? Хотя бы и за 50 рублей в месяц. Быть может, она пойдёт? Нам ведь так необходим интеллигентный (более или менее) человек, на которого вполне можно положиться, который от нас уже не уходил бы. Если ты сейчас возьмёшь русскую, то это тоже ведь не надолго — ведь хотим же мы научить свою Иринку немецкому языку. Хорошо бы сразу найти человека, во всех отношениях подходящего.

Ты теперь опять работаешь в Морозовке. Ну как? А сколько там платят за замещение?

Здесь ходят упорные слухи, что в ближайшем будущем нам всем сократят жалование. Где справедливость? Это нам-то, просидевшим три года на фронте! Не хочу верить. Получила ли ты квартирные? Поцелуй мою Ириночку.

И[уфешти], 24 мая 1917 г.

Как странно. Вот ты опять пишешь прежним милым, таким близким и понятным тоном. <...>

Вернулась Ек.Конст. с Урала ещё 30 апреля, пробыв дома всего только две недели, а месяц — в пути. Устала она страшно. Дома у себя увидела одно только горе и отчаянье. Здесь в П[уфешти] она устроилась при полевой хлебопекарне. Заняла хорошенькую чистенькую хатку. Больных много, работы достаточно. Видимся мы с ней почти каждый день. Она стала много спокойней. Как и раньше, она за всяким советом обращается ко мне, без меня ничего не решает, не предпринимает. Я для неё продолжаю оставаться авторитетом и единственной действительной поддержкой. Я к ней отношусь так же тепло и хорошо, как и раньше. Нет уже той напряжённой атмосферы, того подавленного настроения, когда мы зимой «драпали» по Румынии и когда невольно искали и находили поддержку друг в друге. За то, что она наполнила известным содержанием те тяжёлые и грустные дни, за это я всегда сохраню в своей памяти хорошее к ней чувство. Она мне стала и близкой, и дорогой; конечно, и впредь уже не станет далёкой. В настоящий момент я являюсь только дающей стороной. Ведь духовный её мир не столь уж богат и в обычных условиях не может мне дать многого. Но я ведь и не предъявляю требований невыполнимых...

Ну, как, моя Шурочка, достаточно ли ясно я ответил тебе? Разве я когда-нибудь от тебя что-нибудь скрываю, утаиваю? Конечно, нет. Немножечко побольше доверия, моя Шурочка... Привет Пузырке.

И[уфешти], 26 мая 1917 г.

А у нас время заполняется всякими заседаниями и комиссиями. Ну и некультурная же публика наши господа фронтовые врачи! Или, может быть, были культурными, да одичали здесь. И гражданственность невысокая. Организационные или принципиальные вопросы мало привлекают внимания. Но стоит только перевести разговор на вопрос об отпусках или смене врачей фронта тыловыми, как страсти разгораются, теряется всякий государственный масштаб, и люди с пе-

¹ В дальнейшем — не только преданная бонна Ирины, но и близкий человек семьи до самой смерти в 1942 г. в Москве (когда Ал.Ив. с Ириной были в эвакуации, в Ижевске). Ирина звала её «Моминька».

ной у рта обрушиваются с самыми тяжёлыми обвинениями на товарищей тыла, не стесняясь в выражениях и не считаясь совершенно с общегосударственной стороной вопроса. Внутренней дисциплины никакой. Печальная картина отсутствия элементарных гражданских навыков в интеллигентной, казалось бы, среде. Недаром даже Людмила Львовна заметила, что наши врачи — это какие-то ископаемые бронтозавры и ихтиозавры!

Кого забирают теперь в Морозовке? И как к этому отнеслись сами наши товарищи? <...>

Людмила Львовна всё ещё в 29-м [санитарно-эпидемическом отряде]. Дня через два, вероятно, Сергей Гаврилович её оттуда вытащит. Но, представь себе, она сама уже не торопится, — работа её заинтересовала, увлекает. Вот люди! Сергей Гаврилович способен из-за заседания полкового комитета не ехать полтора суток к жене, а она способна, когда он вчера вечером к ней приехал, сесть в бричку и уехать в хирургическую летучку, не беря его с собой, так как не оказалось места! Кажется, на этот раз даже Гаврилыч был немного огорчён.

Да, вот они оба — прежде всего люди общественные, но я им это в заслугу не ставлю. Всему есть границы. И мне кажется, что ты преувеличиваешь, когда меня считаешь слишком холодным и объективным. Это только, если мерить на твой масштаб. Но ведь ты исключительно экспансивный человек. Я же, как ты видишь, сам осуждаю и не понимаю чрезмерной объективности.

Не за объективность я люблю Керенского (невольный скачок мысли). Вот сегодня прочёл его речи в Киеве¹. Сколько порыва, сколько горячей веры в силу идеи, какой размах, какая стойкость среди анархии, какой глубокий торжествующий идеализм! Если русская революция, несмотря на дикость и инертность масс, несмотря на экономическую разруху и войну, несмотря на узколобую партийность почти всех фракций с-деков и кадетов, выйдет победительницей, то пусть маленькие люди продолжают утверждать, что ход истории определяется классовой борьбой, экономическим материализмом и т. д. Нет, великие эпохи создаются великими идеалами, через посредство цельных и чистых в своих стремлениях великих же людей!

И[уфешти], 27 мая 1917 г.

Какое безотрадное время! <...> А всё-таки, Шурочка, не променял бы я нашего мятежного, нелепого, бурного и всё же великого времени на сонные тихие 80-е и 90-е годы!.. Как ты? Но сейчас и очень крепкие нервы, и очень устойчивый оптимизм иной раз не выдерживает... Как же выдержать тебе с твоими слабыми нервами, при твоём глубоком недоверии к жизни!..

Шурочка, сейчас надо ребром поставить вопрос: можно ли и нужно ли тебе оставаться летом в Москве? Жить там, по-видимому, нечем, и в близком будущем улучшения не предвидится. Существование твоё в Москве полуголодное,

¹ В ходе подготовки июньского наступления Керенский совершил поездки по городам и фронтам, выступая с «зажигательными» речами для подъёма боевого духа армии и общественных настроений. В мае он побывал в Киеве. 19 мая он выступил перед членами Исполкома общественных организаций.

квартиры найти нельзя. Если что и удастся заработать, то весь этот заработок уходит на страшную московскую дороговизну.

Не лучше ли на время бросить Москву? Не лучше ли уехать в ту же Костромскую губернию, в родные места. Может быть, хоть немного физически и нравственно отдохнёшь от тяжёлых московских впечатлений? Я готов после войны (значит, этой осенью) сразу же уехать в провинцию, не сидеть в Морозовке ещё год и вообще в Москве года 2—3. Не пропадём, Шуручка. Знай, милая, что я стал лёгок на подъём, и для меня это не будет чрезвычайной жертвой. Пройдут 2—3 тяжёлых года неустройства и разрухи, жизнь войдёт более или менее в нормальную колею, и мы вернёмся к нашей жизненной задаче, к педиатрии.

Всё это не так ужасно, как кажется на первый взгляд. Ты обдумай это, Шуручка. Надо же решиться. Ведь квартир в Москве нет, даже комнаты не найдёшь. Не оставаться же тебе на улице! А Иринка! Тебе сейчас, я это чувствую, всякая работа в больнице непосильна. Ты должна ещё отдохнуть от кормления. Брось работу до осени, до моего приезда. Уезжай себе к Оле в Вичугу. Осенью мы вдвоём что-нибудь придумаем. Я это тебе пишу вполне серьёзно, Шуручка, обдумав. И ты не сразу отвечай мне отказом, а подумай, и тогда скажи. В героические время нужны и героические решения. В Москве скоро будет форменный голод. Уходи, пока не поздно. И не отчаивайся.

Ещё раз скажу: мы вдвоём не пропадём, а я очень скоро буду у тебя. И крепись, Шуручка. Выдержим все испытания, не поддадимся.

И[уфешти], 28 мая 1917 г.

Глубокая ты пессимистка, Шуручка. Говоришь уже о том, что если погибать, то вместе. Неужели и ты кругом себя замечаешь одно только разрушение, и не видишь ничего созидającego, положительного?

Конечно, всякая разруха и проявления анархии скорее бросаются в глаза, чем незаметный на первый взгляд творческий труд. Но мне кажется, что не следует сейчас преувеличивать значение всяких там Кронштадтских и Переяславских республик. Всё это не слишком страшно. Наша дикая некультурность и непривычка к организованной практической работе, конечно, сказываются. Ведь ещё в 1914-м году я на этом основании доказал, что мы не можем, органически не можем, выйти победителями из европейской войны. Тогда надо мною в Москве все смеялись... Конечно, эти наши качества остаются и поныне. Но я верю, что есть эпохи и эпохи... И мы, я глубоко верю, переживаем сейчас такую эпоху, когда пламенный порыв и честность Керенских, Шингарёвых, Львовых и Церетели выйдут победителями из этой борьбы высокой идеи с инертностью и тупостью масс. Пускай не слишком тебя смущает, что прислуга тебя надула, что прачка неаккуратна и т. д. Всё же для России настало новое время, и открылась возможность светлого будущего. Анархия не страшна, она длительной быть не может. Всё-таки будущее за нами!..

Ты пишешь, что в конце концов придётся бросить врачебное дело и заниматься только стиркой, хозяйством. А я иной раз почти серьёзно думаю, не поступить ли мне после войны официантом в хороший ресторан с перспективной дослужиться в конце концов до метрдотеля! Я думаю, что это будет выгодней и

спокойней, чем оставаться врачом и, быть может, тогда не попадёшь в список презренных буржуев.

Смешно мне читать, Шурочка, твою просьбу не винить тебя за разруху в нашем хозяйстве, когда я приеду. Чудачка, стоит ли об этом говорить? И неужели ты сомневаешься и тут во мне? Не может быть.

Ты две недели не обедала, а мы тут медленно отравляемся птомаинами¹, ведь свежего у нас сейчас ничего нет. Цинга страшно прогрессирует в полках. И всё-таки я опять скажу: всё это ещё не есть несчастье! Ты говоришь, что это и не радость. Согласен. Но мы этой радости здесь видим ещё меньше — у тебя хоть Иринка... Вот если бы мы в самом деле стали бы чужими друг другу — это было бы несчастье.

И[уфешти], 29 мая 1917 г.

Буду сегодня краток, моя Шурочка. У нас сейчас опять собирается заседание. К тому же я весь разбит в самом буквальном смысле слова. Вчера мы с Сергеем Гавриловичем поехали в Р[угинешти], в 29-й отряд. Навестили Людмилу Львовну. Возвращались поздно вечером, когда было совсем темно. Вот в темноте на нас и наскочил шедший без огней автомобиль с французскими офицерами. Нашу двуколку перевернуло в канаву, и мы здорово ушиблись. Сегодня все косточки ноют. Двуколку эту мы только что купили пополам с Сергеем Гавриловичем за 110 р., по 55 р. на брата. Она этих денег стоит. При ликвидации мы, если и потеряем, то никак не больше 10 р. на брата. А бричка, на которой когда-то ты разъезжала, давно развалилась. Ездить постоянно верхом утомительно для Добрыньки при плохом теперешнем корме. Вот мы и купили двуколку-беду. Она лёгкая, на рессорах, и очень прочная. Для одной лошади, конечно. <...>

Вчера я получил ещё письмо от Эдит. Ничего особенного она не пишет. Мне всё-таки странно читать её фразу, что не особенно приятно перспектива сидеть третье лето в городе. Нет, Шурочка, я снова скажу: всё-таки вы, тыловые, нас не понимаете, не можете понять. Ведь мне же обидно читать такие слова! Мы три года сидим на фронте, оторванные от всего, какие уж там перспективы! <...> Скоро буду с вами.

И[уфешти], 30 мая 1917 г.

Всё, что ты рассказываешь, так малоутешительно. Дров нельзя достать, девочку из приюта взяли в деревню, керосина нет, приходится принимать пожертвования, ни квартир, ни комнат, сама не выспалась, есть нечего и т. д. Хорошо, что ты ни слова при этом не пишешь об Иринке. Значит, слава Богу, она-то процветает.

Шурочка, я ведь не на шутку советую тебе выехать из Москвы. Подумай об этом. Знай, что для меня вовсе не так уж важно оставаться непременно в Морозовской больнице. Важно, чтобы мы все могли вести после войны сносное существование, не рискуя своим здоровьем. А в Москве это, вероятно, окажется совсем или почти совсем невозможным.

¹ Птомаины — токсичные азотистые продукты распада (гниения) животных тканей под воздействием микроорганизмов.

Ты вот пишешь, что прямо пугаешься, когда глядишь на себя в зеркало. Мне, конечно, не то страшно, что пугает тебя («мало удовлетворять, надо увлекать...»), даже отвечать не стоит. Но я не хочу, чтобы ты вела полуголодное существование, изнуряла бы себя непосильной работой — всё это во время кормления, отнимающего так много ваших сил.

Если даже ты не согласишься на уход из Москвы совсем, не желая лишать меня возможности кончить стаж, то всё же я сейчас настаиваю на том, чтобы ты уехала хотя бы на это лето в деревню. Ты должна откормиться, отдохнуть, набраться сил для работы с осени. Глупый я всё-таки. Как это я допустил, что ты взяла заместительство в Морозовке! При нормальных условиях, нормальном питании это было бы возможно, но сейчас это тебе явно не по силам. Так надо исправить то, что можно. С 1-го июля кончай там свою работу, откажись. Если к тому сроку найдёшь квартиру, то перевезёшь мебель с Соней <сестрой> туда. Если нет, то мебель сдашь на хранение. Пусть стоит дорого, наплевать! Сама ты поедешь к Оле отдыхать до сентября. Если к тому сроку в Москве Соней или приятелями будет найдена какая-нибудь квартира, то ты приедешь. Если же нет, то мы с тобой останемся в провинции. Не пропадём. Так ли, этак ли, но работу найдём, а жить будем сытней и независимей, чем в Москве. <...>

Провинция меня теперь совсем не страшит. Даже наоборот, привлекает. Города сейчас нехорошие. В провинции работать легче, и удовлетворения получишь больше. И **Иринке** мирный воздух провинции будет полезней. Не думай долго. Решайся.

И[уфешти], 1 июня 1917 г.

Я думаю, что теперь, когда ты работаешь в больнице, когда нет прислуги, и нечего есть, ты просто не успеваешь мне писать. Как тяжело сознавать, что я тебе отсюда никак помочь не могу. <...>

С утра идёт дождь, грязно на дворе. Два Сергея уехали на заседание совета врачей. Я не захотел — всё равно бестолочь. Вероятно, Гаврилыч нынче привезёт, наконец, свою жену. Он уже немного нервничает, а она чувствует себя хорошо в 29-м отряде, заинтересовалась больными. Это называется тоже приехать в отпуск отдохнуть! Кому что, а я бы не мог.

Популярность Керенского растёт не по дням, а по часам. Заслуженно. Ведь это он повсюду успеваешь, всюду сплывает. А взять его речи — это не слова, а дела! И каждая не похожа на предыдущую. Сравни, например, его речи в Киеве, в Риге и последнюю в Москве, в Большом театре. Объединяет их глубокая вера в силу высокой идеи, пламенный темперамент, а в остальном — в выборе темы, в построении — они не похожи друг на друга. Каждая из них читается с новым захватывающим интересом, подкупая своей искренностью. А каково их непосредственное действие? Хотел бы я его послушать. И как понятно, что всякие там мелкие людишки, мелкие душонки вроде Троцкого¹ и К°, в Керенском увидели

¹ Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) — профессиональный революционер, идеолог перманентной и мировой революции, находился в радикальной оппозиции к Временному правительству, впоследствии один из создателей и фактический главнокомандующий Красной армии, занимал руководящие посты в советском партийно-

нашего будущего Наполеона. А он горит и горит... И имя его останется в истории, когда Троцкие давным-давно будут забыты. Слава ему!

И[уфешти], 2 июня 1917 г.

Ты пишешь об общем вашем поправении, о глубоком разочаровании, вас охватившем. Ссылаешься на Екатерину Ивановну, говоришь об отсутствии чувства собственного достоинства у русского народа.

А я, Шурочка, не поправел, хотя и здесь бываю свидетелем подобных при-
корбных фактов. Конечно, русский народ сейчас ещё не созрел, не способен
понять и оценить те свободные учреждения, которые ему дают. Конечно, он дик,
некультурен. Он не англичанин и не француз. Но разве мы этого раньше не зна-
ли? Неужели нужно было идеализировать нашего мужичка и рабочего, чтобы
желать и добиваться для него свободы? Не понимаю я вашего разочарования.
Никакая культура не даётся разом. Необходимы десятилетия упорного труда,
настойчивой работы для того, чтобы создать действительно свободных граждан
свободной России. Я на этот счёт, кажется, никогда не обманывался. Сейчас пе-
ред нашей интеллигенцией широкий простор для культурной деятельности. Сей-
час бы и взяться смело за работу. А вместо этого приходится констатировать, что
она спасовала, испугалась... Ведь в этом весь смысл, вся ценность переворота,
что создана возможность широкой культурной работы, создана возможность из
раба сделать гражданина.

Но пока раб, конечно, остаётся рабом с рабскими навыками, с рабьей идео-
логией. Меня это не удивляет. Но именно сейчас наша интеллигенция должна,
не смущаясь, не отворачиваться в испуге от народа, а слиться с ним, войти в
него, понять его. Почва рыхлая, благодарная. На ней можно легко посеять вся-
кий Ленинский сор, но на ней можно посеять и семена Керенского, разумное,
доброе, вечное... Сейчас именно такая эпоха, когда могут в массах проявиться
отдельные сильные индивидуальности. Надо воспользоваться этим временем,
надо рассеять добрые семена. Не нужно испуга, не надо брезгливости. Надо
понять новое время.

И[уфешти], 5 июня 1917 г.

Несколько дней уже **Людмила Львовна** здесь, у нас. Год тому назад ты была
с нами... Тогда у нас было большое оживление, больше сплочённости. Даже, по-
жалуй, чересчур: ведь мы тогда почти не оставались вдвоём. Всё на людях. Сергей
Михайлович как-то не умеет, что ли, сплотить общество, но факт тот, что мы все
почти вразброд, сами по себе. Даже вечеринки ни одной совместной не устраи-
вали. Сергея Михайловича совсем не видать по целым дням. Сама Л.Л. немного
сонная, рыхлая. Испортил её за 11 лет Сергей Гаврилович, ей-богу. Она могла
бы быть более интересным человеком, хотя и сейчас симпатичная, славная. Не-
достаёт нервности. Не тянет меня к слишком спокойным уравновешенным лю-
дям! Тебе это неожиданно? А разве я сам-то, по существу, человек спокойный?
Конечно, нет. Я сдержанный, но не спокойный. Так?

государственном аппарате, выслан из СССР как лидер левой оппозиции и убит агентом НКВД.

А всё-таки, как было бы хорошо, если не Л.Л., а ты была здесь с нами!.. <...> А Пузырка наша уже загорела. Она совсем большая, гуляет по Москве. Меня, глупенькая, не узнает. Я ли её узнаю? Тоже вопрос. Боюсь, что за май ты мне не пришлешь карточки.

П[уфешти], 6 июня 1917 г.

Сейчас уже очень поздно, и страшно тянет спать. Дело в том, что весь день [мы] выполняли гражданские обязанности. Происходили выборы нашего полкового дисциплинарного суда. Надо было выбрать в него трёх офицеров и трёх солдат. Выборы общие. Мы наметили трёх кандидатов, которых и предложили солдатам. Они предложили своих трёх. Однако, хотя мы все 10 выборщиков от офицеров и голосовали за свой список, один из наших офицеров оказался забаллотированным. Вместо него избранным оказался я. Для меня совсем неожиданно и даже нежелательно, так как не люблю юстицию и всё что с ней связано. Но раз я прошёл исключительно солдатскими голосами, я считал неудобным отказаться. Боюсь, что потом с этим будет много возни.

Сергей Гаврилович представитель нашего полкового комитета. Вообще врачи в моде.

Вернулся домой, и застал здесь гостей из 29-го [отряда]. Впрочем, они часам к десяти уехали. Потом проявлял снимки, так как обещал Людмиле Львовне, завтра уезжающей, приготовить карточки до её отъезда. <...> Прощай, моя дорогая, не сердись. Я сплю.

П[уфешти], 7 июня 1917 г.

Только что уехала Людмила Львовна. Мы опять одни. Впрочем, должен сказать, что приезд Л.Л. не внёс и малой доли того оживления в нашу среду, как твой прошлогодний приезд в Березье. Чего-то не хватало. Не знаю, понравилась бы она тебе. Я её усиленно звал к нам в Москву, если мы после войны ещё там останемся. Она звала в Лебедин. Кто знает, может быть, мы скорей попадём в Лебедин...

Перечитываю вчерашние твои два письма. Мало в них радости... Боже, как тяжело тебе! <...> Выше голову, Шурочка! Не дадим же мы себя сломить судьбе-злодейке.

П[уфешти], 8 июня 1917 г.

Тебе так безгранично тяжело, ты настолько потеряла всякую почву под ногами, настолько отчаялась во всём, что не стану, не могу я отвечать тебе, разбирая отдельные твои слова. Не в словах суть и дело. У тебя просто нет больше душевных и физических сил. Какая уж там вера в кого бы или во что бы то ни было!.. <...>

Мы имеем счастье и несчастье жить в великую эпоху мировой истории. Такие эпохи мало считаются с индивидуальным благополучием людей. Неужели мы в себе не найдём достаточно силы, чтобы не быть разбитыми под ударами судьбы, никого сейчас не милующей. Не забывай, что терпеть нам осталось теперь совсем недолго, что всё самое трудное, самое тяжёлое уже позади нас. <...>

Я думал, что появление ребёнка на тебя подействует умиротворяющим образом. Но что же поделаешь, когда всё становится для тебя только источником всё новых и новых мучений... Никак нельзя тебя предоставить самой себе — ты сама себя пожираешь.

И[уфешти], 9 июня 1917 г.

Неужели до сих пор невозможно в Москве найти прислугу? Неужели так-таки, ей-богу. Есть нечего? У нас тут тоже дошли до *minimum*'а. Я уже с неделю как зачислился в котёл в свою команду (теперь это разрешено и нам) и пока очень доволен. Не надо ходить в лазарет, не надо каждый день видаться с одними и теми же скучными людьми. Команда моя не голодает, не голодаю и я. Когда уйдёт от нас лазарет, и Сергей Гаврилович тоже перейдёт на общий котёл. Так и мы демократизируемся. Продуктов никаких достать нельзя, хоть убей. Нет даже картошки. Манной или другой какой-нибудь лёгкой крупы я не могу достать, хотя бы 2—3 фунта, — её нет. У нас в команде имеется только небольшой запас ячневой крупы.

Нет, Шурочка, поезжай, моя дорогая, в деревню. Там вы с Иринкой хоть сыты будете, а в Москве с голоду помрёте. Не откладывай ни одного дня, решайся. А то меня очень и очень огорчишь...

И[уфешти], 10 июня 1917 г.

Твоё сегодняшнее письмо произвело на меня довольно-таки тяжёлое впечатление.

И[уфешти], 11 июня 1917 г.

Я получил сегодня твоё письмо от 30 мая, проникнутое совсем другим духом. Стало так хорошо, так тепло на душе. Ты опять стала «ощущать солнце, зелень и радость». Часто ли это бывало в последнее время! Подольше бы сохранилось... <...>

Ты даже интересуешься нашими делами здесь и даже, — *horribile dictu!*¹ — моими взглядами на современные события. Посылаю тебе удачную фотографию Людмилы Львовны. Снято в *Р[угинешти]*, в 29-м отряде, во время чаепития. Спокойное у неё выражение лица. Из другого теста она, чем моя Шурочка... А как независимо она держит папироску в руке! <...>

Ты спрашиваешь про Сергея Михайловича. Он, вероятно, скоро от нас уйдёт. Либо к Тарасевичу, который, может быть, получит на этих днях высокое назначение, либо же во фронт, куда его настойчиво приглашают. На днях должна получиться телеграмма от Тарасевича, тогда всё разрешится. Мы его считаем уже не нашим. Всё-таки привыкли мы к нему, несмотря на все его многочисленные недостатки, подвижность его всё ещё изумительная. Казалось бы, утомился человек после месячной поездки по России. Так нет же, он и тут постоянно разъезжает то на съезд в армию, то на совещание, то в совет, а то и просто в гости в 29-й отряд, где он даже на старости лет немного увлекается сестрицей Варенькой, певуньей-хохотуньей. Сейчас он в городе Р-е [*Романе?*], куда поехал вме-

¹ *horribile dictu!* (лат.) — страшно сказать!

сте с Мысливой (помнишь её? Она теперь районным врачом в нашей армии) на съезд Земсоюза как представитель военного ведомства от нашей армии. Вечно в разъездах, вечно полон новостей, всегда больше тревожных. Жаль отпустить из нашей среды такое будирующее начало. Да и защитник он наш всё-таки.

И[уфешти], 13 июня 1917 г.

Шурочка, на время вновь запрещены отпуска!.. А мне уже улыбалась перспектива выехать отсюда, быть может, через какой-нибудь месяц, так как Сергей Гаврилович мне уступил бы очередь, а Сергей Михайлович, по видимому, совсем отпадает. Ну, ещё немного подождём. Запрещение это, вероятно, ненадолго.

На этих днях у нас здесь начнётся замена врачей тыловыми. Так, по крайней мере, обещает наша исполнительная комиссия, ведающая этим делом в Одессе. Но она полномочна только в пределах Румфронта. Мне же мало улыбается перспектива сидеть на каком-нибудь эвакуационном пункте в Кишиневе или Одессе. Предпочитаю оставаться здесь, на привычном месте. Желающие переводиться во внутренние округа распределяются Петроградом, где рассматриваются наши опросные карточки. Я на карточку уже ответил, и она послана в Петроград. На вопрос, согласен ли я на обмен, я ответил: «Согласен, хотя бы с понижением, в гор. Москву или ближайшие его окрестности. Желаю перевестись на должность мирного времени в Городскую Морозовскую детскую больницу в Москве, где имеются призванные на военную службу врачи, оставленные впредь до замены их нами с фронта». Ведь правильно?

А всё-таки наши тыловые товарищи, выражаясь мягко, порядочные свиньи. Не думаю, чтобы я, будь я на месте Николая Ивановича [Скворцова] или Ивана Михайловича [*Струженского*¹], несмотря на все твои просьбы и убеждения, счёл бы возможным оставаться на насиженных местах. Почему вот наша семья может быть на годы разорвана на части, а другие семьи, ничем не лучше нашей, могут благоденствовать. Ведь мы не можем не чувствовать всей горечи несправедливости. Но они нас совсем не понимают... «Вам там это дело привычное, уж вы там сами кончайте как-нибудь!» Это слова Николая Ивановича, сказанные в январе при прощании, часто вспоминаются мне, и становится горько и обидно на душе.

Наша комиссия в Одессе, несмотря на массу встречающихся препятствий со стороны тыловых врачей (к каким только уловкам не прибегают!), действует очень энергично. Ещё труднее будет работа в Петрограде. Изволь-ка извлечь «товарищей» хотя бы из той же Морозовской больницы!.. Слов нет, хорошие они все люди, но...

И[уфешти], 14 июня 1917 г.

Говорил сегодня с Сергеем Михайловичем по поводу твоего настоящего положения. Настаивает на том, чтобы, во что бы то ни стало я убедил тебя, что *minimally* на два месяца тебе надо уехать в деревню. Сидеть тебе сейчас в Москве — это абсурд во всех отношениях. Ничего решительно ты от этого не выигрываешь,

¹ Струженский Иван Михайлович — врач-ассистент Морозовской больницы.

если не считать жалких грошей, а теряешь много — силы, здоровье, бодрость. Да и грошей ты не выигрываешь при московской дороговизне. Ты говоришь, что духа я в тебе не вижу. Ох, слишком даже много духа в тебе, Шурочка! Поменьше бы принципиальности и побольше простоты и непосредственности в решениях. <...> Ты с горечью восклицаешь: «Разве можно сказать уверенно, что мы будем устраивать вместе нашу жизнь и устраивать так, как мы хотим?» Конечно, будем, хотя, быть может, и не совсем так, как хотели, но уж во всяком случае, не придётся тебе бросить всё и заняться только ненавистным хозяйством. Нет, до этого мы не допустим. <...>

Я, Шура, в последнее время как будто начинаю верить, что буду в Москве ещё до окончания войны, хотя и едва ли раньше августа. Наши исполнительные комиссии берутся энергично за чистку тыловых Авгиевых конюшен. Это такое дело, в котором кровно заинтересованы все. Тут спуска не дадут. А дух времени нам благоприятен. Результаты, несомненно, получатся. Чего доброго, в конце концов хоть на месяц какой-нибудь вытащат даже Ив.Мих-ча и Ник.Ив-ча. Пусть хоть тревогу некоторую почувствуют...

Нынче опять заседание. Скучно, не хочется ехать. Привет тебе от двух Сергеев.

И[уфешти], 15 июня 1917 г.

Ну, и тоска же была вчера на нашем заседании! Не приведи Господь. Я решил больше не ездить. Коллеги наши, особенно из полков, это форменные дикари. А все вопросы решаются вовсе не на деловой почве, а только на личной. Ясное дело, если Сергей Михайлович вносит какое-нибудь предложение, то оно немедленно подвергается нападкам и отвергается, как бы разумно и целесообразно ни было. Противно даже. И на этой основе решается всё. <...>

Получил и длинейшее письмо от мамы. Невесёлое оно. Нелегка сейчас жизнь, всё заботы и заботы. Отец стал стар, прихварывает. Врач ему уже назначил и камфару, и кофеин. Мама завидует умершему брату Ниго; так ему хорошо теперь лежать среди сосен и елей... Тяжко только расставание с дорогими, близкими.

Здоровье Лени тоже всё ещё не налаживается как следует. Нет-нет и повысится снова температура. Выехать некуда. В деревне волнения, беспорядки, опасно. Сидеть в городе вредно.

Карлушку они хотят определить в Юрьевский университет, так как рассчитывают, что там всё-таки будет дешевле, чем в Москве, и потому, что не хотят и его отпустить далеко. Я их понимаю.

Пишет мама и о своих хлопотах найти для Ириночки бонну. Она нашла подходящих девушек, но тогда они оказались уже ненужными. Во всяком случае, и в будущем всегда в этом вопросе можно положиться на маму. Она найдёт, кого нужно. Как было бы хорошо, если бы она сейчас находилась в Москве. Она обладает таким талантом бесшумно наладить всякое дело, найти выход из тяжёлого положения. При этом посторонним иной раз совсем не заметно, сколько сил приходится затратить ей самой, сколько забот, сколько нервов. При ней становишься спокойным, чувствуешь, что не пропадёшь. Эх, жаль, что её нет сейчас в Москве!

И[уфешти], 17 июня 1917 г.

Я тебе вчера не писал, Шурочка, потому что, вернувшись из штаба домой, застал здесь у себя двоюродного брата, приехавшего из города Б[ырлада?]. Он у меня просидел весь день и полночи, и только к двум часам ночи отправился на поезд. Было очень занятно повидаться с представителем совсем иного мира, других воззрений. Тем более что его представления и мнения те же, что у большинства остальных представителей Прибалтийского Края. Он, конечно, националист прежде всего, и все вопросы рассматривает под этим узким углом зрения. Слишком винить их за это нельзя. Мы с тобой мало знаем и считаемся с национальными противоречиями. А посмотри, как хотя бы здесь, в юго-западном крае, как сильно разгораются страсти на этой почве. Вот сейчас украинский вопрос стоит очень остро¹. И не один только он.

Я их там, на севере немножко понимаю: господствующей народности нелегко разом отдавать все свои позиции, особенно такому тяжеловесному и грубому народу как латыши. Ведь они сейчас мстят. Вот отсюда и национальная гордость, и стремление к чистоте расы, как к чему-то особенно ценному.

Но теория одно, а практика другое. И это мне показалось особенно любопытным. Дело в том, что за три года войны вдалеке от родины мой любезный двоюродный брат успел оценить достоинства и полюбить одну русскую сестру милосердия. Полюбила его и она. Вот он, бедняжка, сейчас и мучается, ищет и не может найти правильного решения. Спрашивает меня, не считаю ли я свой брак до некоторой степени компромиссом или нет. И что я мог бы ему посоветовать?

Я ответил, что другому человеку советовать не берусь, но за себя могу ответить, что свой брак никогда не считал и не буду считать каким-то компромиссом, и, во всяком случае, для себя в этом вопросе не считаю возможным пойти на какой-либо компромисс со своей совестью. Если бы я чувствовал, что меня всю жизнь будет что-то угнетать, я не счёл бы возможным насиловать себя. При таком отношении счастье получится всё равно не может. Для счастья необходима свобода духа. Где дух скован, там счастья быть не может. Ведь я прав, Шурочка? Вот попался, бедняжка! Он сложил себе в голове целую систему. Так всё выходило аккуратненько, чисто, — и вдруг, помимо всяких теорий и систем, и даже против них, — полюбил девушку чужой национальности. Как тут быть? Неужели отказаться от всех своих систем? Но ведь это ужасно! Вот и решай тут.

Донимает жара, донимают опять мухи, не дают по утрам спать. Днём всё время хочется спать.

Привет Ириночке моей.

И[уфешти], 18 июня 1917 г.

Ну, что с тобой поделаю? Затвердила одно и то же; и откуда взяла? Пишешь: «Не совсем я понимаю, почему наши материальные невзгоды кажутся тебе не-

¹ 7 марта — избрание Центральной рады, 6—8 апреля в Киеве состоялся Всеукраинский национальный съезд. Остро стоял вопрос о национально-территориальной автономии Украины. Временное правительство предлагало отложить его решение до созыва Учредительного собрания.

важными». И тебе не совестно так писать? <...> К чему ты хочешь казаться такой нечуткой?

Вот, хотя я и писал, что на тебя не обижаюсь, но неправда, сейчас у меня даже слёзы на глазах от обиды. Ей-богу, не заслужил. Ну, к чему это, к чему? Как прошлой осенью ты утверждала, что я мало обращаю внимания на твои нравственные терзания, что не находишь ты в моих письмах отклика на них, — а я в это время переживал тяжёлые дни крайней усталости, безверия, отчаяния, — так и сейчас ты находишь, что я не реагирую достаточно на твои материальные невзгоды. А между тем и у нас с этой стороны далеко не благополучно. Но как ты осенью не заметила и не отметила в письмах моего состояния, так и сейчас ты, конечно, не обратила внимания на то, что и нам тут кушать почти нечего, что мы отравляемся гнилой рыбой, и что цинга принимает всё более ужасающие размеры. Боже меня сохрани обвинять тебя за это. Ты просто слишком далека от нас, живёшь в совсем другой обстановке. Я же много раз говорил, что вы там нас на фронте совсем не можете понять. Я это только констатирую и понимаю, а потому и не обвиняю, не требую иного.

Но если ты мне повторно бросаешь упрёк в том, что все мы, мужчины, эгоисты, то я с этим никак не могу согласиться. Всё более я убеждаюсь, что настоящие эгоисты — это женщины, ибо вне своего внутреннего мира для них не существует ничего. И чужого, и вообще иного они не понимают — это другое им недоступно.

Шурочка, припомни, последний горячий отклик на то, что меня волновало и мучило, я нашёл в твоих письмах — когда? Ещё в ноябре и декабре 1914 года, когда я лежал с обострившимся миокардитом. Тогда твои письма служили мне большой поддержкой. <...>

Давай не будем больше писать таких фраз, как цитированная мною сегодня из твоего письма. Давай, Шурочка, будем больше верить друг другу, будем проще.

И[уфешти], 19 июня 1917 г.

Удивляюсь я. Ведь призваны же Ник.Ив. [Скворцов] и Ив.Мих. [Струженский]? А между тем Ив.Мих. едет обычным порядком в отпуск. Ведь это же прямо насмешка над нами. Нас брали в своё время прямо из отпуска, а их фиктивно призывают и ещё отсылают прохладиться. Где же элементарная справедливость?

Жаль, что ты мне ничего не пишешь о наших коллегах. Написала только про конференцию. Но какова же обязательная сила конференции, и будут ли с нею считаться? Предпримут ли сами какие-нибудь шаги к отозванию нас с фронта? Пиши, голубушка. Всё это нас тоже волнует. Привет Иринке.

И[уфешти], 20 июня 1917 г.

Писем не было. Опять перечитываю старые. Вот ты говоришь, что Екат. Ив. [Иванова], глядя на тебя, безнадежно машет рукой. А ты ей скажи, что я на неё безнадежно махаю рукой. Как не стыдно ей, самостоятельному независимому человеку, быть такой малодушной, пугаться событий, каких-то глупых эпизодических стачек, нервничать, проливать слёзы! Она не должна, не имеет права поддаваться всеобщей панике. Как интеллигентный, культурный, неза-

висимый человек, она должна дезорганизации противопоставить организацию, сплочённость, духовную мощь, а не увеличивать собою партии испугавшихся интеллигентов. Пора понять, что революция не есть эволюция, и что некультурный народ в 2—3 месяца не может сделаться культурным. Пора понять, что эксцессы, анархия и всякие нелепости неизбежны до поры до времени, и что от культурных слоёв населения зависит прекратить их путём упорной культурной и организационной работы. Лес рубят — щепки летят. Это, может быть, и обидно, но неизбежно. Скажи ей или (из Вичуги) напиши ей, что мне совестно за неё, такого, казалось бы, независимого и оригинального человека, что она поддалась общей панике, общему безверию. Стыдно!

Издавна считают, что русская интеллигентная женщина более стойка и мужественна, чем интеллигентный мужчина, мямля и сюсюка. К сожалению, это не всегда так... Вот какой тирадой я разрешился, но я не могу иначе.

Ты мне пишешь о Вл.Вл. Колли¹ и смерти его бывшей невесты. Я его совсем не знаю, а что у него раньше была невеста, для меня тоже новость. Он мне всегда мало нравился, но, может быть, я ошибаюсь. Почему он не призван? Почему он имеет право на личную жизнь, а я нет?

Тебе, вероятно, странно, что я ставлю такой вопрос, но в последнее время я болезненно реагирую на всякое упоминание о том, что в тылу сидят здоровые люди, живут, работают, пользуются отпуском, любят, и т. д. При старом строе, когда такие думы были явно бесплодны, я как-то мирился с этим. Сейчас мне обидно... Ведь и мы же здесь устали, и нам необходимо вернуться к прежней жизни...

Пиши мне, Шурочка, кто именно из товарищей призван, и почему они сидят в Москве. Какие шансы на отправку их на фронт? Им долго воевать не придётся, может быть, даже совсем не придётся, но пусть всё-таки хотя на один миг почувствуют горечь разлуки, разрыв со всем привычным, дорогим, милым. Это их не испортит, ей-богу. Вот какой я злой!

И[уфешти], 22 июня 1917 г.

Всё ещё нет ответа на интересующее меня больше всего: поедешь ли ты в Вичугу? Когда я это узнаю?

Прежде всего, чтобы не забыть, по поводу полученных тобою квартирных. Шурочка, зря ты взяла эти 418 рублей. Они тебя надули. Квартирных в месяц по Москве полагается 45 р. с копейками. И на наём прислуги 10 р. Значит, в месяц 55 р., а за 13 месяцев никак не меньше 715 рублей! Ты недополучила целых 300 рублей!

Нам, к сожалению, сейчас не приходится относиться к этому равнодушно, и надо принять меры к тому, чтобы получить всё полностью. Почему ты не спросила чиновников, из каких расчётов они исходят и приняла с благодарностью то, что дали? С этой публикой особенно церемониться не приходится, особенно если она таинственно шепчется. Значит, они сами путаются. Шурочка, если ты, не дай Бог, ещё в Москве, то съезди ещё раз в Крутицкие казармы и выясни дело. Махнули мы на 200 рублей, исчезнувших в Земском союзе², если махнуть и на

¹ Колли Владимир Владимирович — сын В.А. Колли, тоже врач.

² 200 руб. в счёт аванса Ал.Ив. оставила в Земсоюзе в Киеве во время поездки к Фр.Оск.

эти 300 рублей во имя принципа непротивления злу, то что же, в конце концов, получится? Останемся без штанов! Хотя это и не так страшно, можно достать другие штаны, но всё-таки...

Ответ на твой вопрос: можно ли тратить 25 р. на снимок Иринки на дому? Если хочется, то, конечно, можно, но даже по теперешним временам это страшно дорого. Впрочем, может быть, я тебя не понял: 4 карточки разных или только 4 отпечатка с одного снимка? Если разных, то это ещё с грехом пополам терпимо. Теперь Ириночка уже большая (!), и хочется иметь несколько хороших снимков этого периода. <...> Но ведь это письмо тебя застанет уже в Вичуге, где не будет фотографа... Так? Впрочем, и там постарайся найти хотя бы какого-нибудь любителя. <...>

Сообщение о вашей конференции, появившаяся отдалённая надежда, возможность вернуться к работе и в семью ещё во время войны разбредила старые раны, подлила масла в потухающий огонь...

Всё чаще стал мечтать о научной и общественной работе у себя в Лебедине и Сергей Гаврилович. А Сергей Михайлович, ожидающий нового назначения, равнодушно относится ко всем возможностям — он тоже устал. Какие мы здесь работники! Никуда мы не годимся. Пора, пора нам вернуться к пенатам. Имели бы хоть немного сердца и души наши тыловые товарищи...

И[уфешти], 23 июня 1917 г.

Как наша Ириночка? <...> Одно меня утешает: что к моменту, когда она впервые начнёт лепетать, начнёт жить более или менее сознательной жизнью, я буду уже дома. Это от меня не уйдёт.

Вот Сергей Гаврилович самые интересные годы развития своей Оксанки пропустил из-за войны. Ведь какой это занимательный возраст от 2 до 5 лет! Ведь тут дети, как распускающийся ранней весной лепесток. Нет, уж этого судьба от меня не отнимет.

И[уфешти], 25 июня 1917 г.

А Сергея Михайловича у нас берут. Зовёт его к себе Тарасевич, который занимает сейчас место главного начальника санитарной части (точный титул не знаю; подписывается сокращённо: «саниверх») при ставке верховного главнокомандующего¹. Вероятно, Сергей Михайлович у него получит должность помощника по санитарному отделу или что-нибудь такое. Он не очень воодушевлён новыми перспективами. Боится, что при сегодняшним многоначалии и многословии продуктивная работа окажется мало возможной. Думает, что и Тарасевичу придётся разочароваться. Я же за него очень рад, потому что полагаю, что научно в будущем Серг.Мих. тоже неспособен уже заниматься, как и Тарасевич. Ему нужна кипучая широкая деятельность. Однако так как он плохо умеет ладить с людьми, то необходим ему ближайший начальник, с которым он должен будет считаться, который для него явится авторитетом и который знает и его со всеми его слабостями. Таким начальником для него явится Тарасевич. С ним, я думаю, и впредь, после окончания войны, ему надо будет работать.

¹ Л.А. Тарасевич был главным полевым санитарным инспектором при Ставке верховного главнокомандующего.

Я всё это и высказал Сергею Михайловичу, который по существу со мной и согласился. Ему сейчас не хочется с нами расставаться, он тоже привык к нам всем. Уедет он от нас, вероятно, не раньше 2–3-го июля. Ведь и он иной раз бывает тяжёл на подъём. Говорит, что постарается, если окажется возможным, способствовать скорейшему моему переводу в Москву. Дай-то Бог!

Хорошо у нас вечерком. Сидим с Сергеем Гавриловичем на балкончике, а на дворе собирается вся хозяйская скотинка. Любопытно за ней наблюдать. Хорош телёночек, хороши и поросята, очень хороши утята и цыплята. Люблю я пошутить и с Марицей, двухлетним хозяйским ребёночком. Сельская идиллия. Ничего не имел бы против того, чтобы прожить с тобой и **Пузыркой** в деревне.

И[уфешти], 27 июня 1917 г.

Сегодня наконец получил твой ответ, и оказался он, как я и предполагал в последние дни, отрицательным. Ты как будто даже не придаёшь серьёзного значения моей просьбе, так как отвечаешь на неё только в конце письма после ряда сообщений о прислуге, бонне и т. д. Меня это даже до некоторой степени радует, так как это признак, что настоящее положение потеряло для тебя прежнюю остроту, что понемногу жизнь твоя снова входит в определённую — хорошую ли, худую ли — колею. И тон твоего письма, в общем, спокойный. Аргументов ты приводишь целую кучу. Они для меня не слишком убедительны сами по себе, ведь я их принимал более или менее в расчёт. Для меня самое убедительное то, что ты нашла прислугу и бонну, и сама стала спокойней относиться к своему положению. Вот это убедительно. Остановка за квартирой. Раза два я случайно находил в «Русских ведомостях» объявления о сдаче квартиры в 4–5 комнат на Пятницкой. Может быть, всё-таки не совсем безнадежно следить по утрам за объявлениями в газетах? После обеда, конечно, уже поздно. Теперь дело идёт к концу лета, то же труднее найти с каждым днём. Не представляю себе, что из этого выйдет. <...>

«Ты должен учиться, и моё право поддерживать тебя в этом». Да я же всегда на это и рассчитывал! Мне кажется это настолько естественным, что не стоит даже об этом и говорить. Но ведь и за мной право заботиться немного о тебе и Иринке. Ты сама с болью констатировала, что я слишком мало забочусь о вас. Вот я и позаботился, но напрасно... Самостоятельный ты человек, Шурочка. Тебя, конечно, не убедишь, и ты всегда сделаешь по-своему. Ты почему-то убеждена, что имеешь право приносить другим жертвы, а тебе их приносить нельзя. Это тоже своего рода эгоизм, и не из лучших. Я не делаю таких различий между собой и другими, тем более тобой... Одинаковы наши обязанности, одинаковы и права.

Не совсем я понимаю, которая по счёту у тебя бонна? И неужели эта Христина Ивановна так уж мне опасна? Я что-то не боюсь.

И[уфешти], 29 июня 1917 г.

Твоё письмо бодрое, Шурочка, и я этому так рад. Ведь вообще-то ты меня не очень балуешь бодрыми письмами. <...> Если ты хочешь, чтобы я скорее вернулся, то позаботься о том, чтобы наши «призванные» (!) товарищи в тылу не разъезжали бы по отпускам, а поторопились бы заместить нас здесь на фронте. Какой же это призыв? Ничего не понимаю. <...>

Хотя сейчас условия работы, казалось бы, улучшились, хотя мы сейчас и гарантированы от мелких придирок и несправедливостей, не можем мы работать... Мы устали. <...>

Ты пишешь о конференции наших врачей, о том, что ассистентам требуют 5000 р. жалованья. Это, конечно, слишком много по теперешним временам, когда городская касса пуста, и требовать этого мы не имеем никакого права. Но если требуют 5000, то, может быть, осуществят хотя бы 2400 р. В соединении с твоими, приблизительно 200 р. в месяц мы могли бы тогда с грехом пополам прожить в Москве. Хоть некоторая прибавка нам сейчас, конечно, необходима. <...>

И[уфешти], 7 июля 1917 г.

Я тебе не писал, кажется, 4—5 дней, моя Шурочка. Не по своей вине, конечно. Я почему-то немного захворал и валялся в постели. Теперь, по-видимому, всё кончилось, но ещё осталась большая слабость. Ты спросишь, что было со мной, а я не смогу тебе ответить. Был небольшой сравнительно жар, не выше 39°, сильная головная боль 2—3 дня, общая разбитость, так что не мог даже сидеть, — и больше ничего. Сегодня температура нормальная, голова не болит, но слабость большая, и сердце ещё даёт о себе знать. Дня через два я буду совсем здоров. Беспокоиться уже нечего.

Телеграмм тебе посылать не могу, потому что сейчас не принимаются частные. От тебя за всё это время нет ни одной весточки. Боюсь, что письма сгорели на ст. [Текуч?] вместе с почтовыми вагонами. Там несколько дней назад было такое несчастье.

Уехал от нас Сергей Михайлович. Никак не мог оторваться. Если будет в Москве, то непременно зайдёт к тебе. Как ты с Ириночкой? Как вы живёте с Христиной Ив.?

На сегодня довольно. Лягу; устал. <...> Бумага на исходе, стал жалеть.

И[уфешти], 8 июля 1917 г.

И ты больна! <...> И почему ты только ходишь в больницу, работаешь? Хоть 2—3 недели ты могла бы ведь отдохнуть. Что толку, что ты будешь работать через силу, в потом сляжешь уже на 2—3 недели, а не на дни. Шурочка, будь хоть немного благоразумна. Не следует злоупотреблять и своей работоспособностью. Ты так часто говоришь, что должна много и упорно работать, чтобы содержать бонну и прислугу. Я бы на твоём месте не подчёркивал, что именно «ты» должна работать, а не «мы». Я не делаю различия в нашей будущей работе, зарплатке и т. д. Это всё наше общее, и я, конечно, знаю, что у меня не меньше обязанностей, чем у тебя, моя дорогая. <...>

Как ты быстро пугаешься, Шурочка! Вот ты схватила дизентерийку, и уже в отчаянии, что схватит её и Ириночка. А я совсем этого не боюсь, зная твою осторожность. Через воздух зараза не передаётся, чего же бояться? В остальном все меры, конечно, будут приняты, и опасности, значит, нет. Да, привык я трезво смотреть на вещи. Какие мы, по существу разные с тобою люди! А, между прочим, оба хорошие... А ты, Шурочка, за эти три года войны всё-таки опять сильно от меня отпала. Идёшь своими самостоятельными привычными зигзагами. Пора, пора тебя опять втянуть в свою работу. Мы от этого оба не проиграем. <...>

Мне совсем невтерпеж стало ждать конца, хотя и чувствую, что он близок. Не запугивай меня никакими тыловыми ужасами и лишениями. Мне на них совсем наплевать, только бы быть опять с вами. Ведь есть же предел всему.

Я продолжаю поправляться, хотя ещё чувствую большую слабость. Теснение в груди, и почти всё время валяюсь на постели. Странная история без диагноза. Ведь никаких катаров. Кишечник вполне приличен, несмотря на ставшее совсем скудным питание.

18 июня началось последнее наступление русской армии в направлении на Львов, тщательно подготовленное и в первое время весьма успешное. Были взяты Станислав, Галич, Калуш, но вследствие разложения и деморализации армии к 1–2 июля продвижение войск прекратилось. Это позволило германским и австро-венгерским войскам сосредоточить силы, 6 июля перейти в контрнаступление и вновь легко дойти до Брод и р. Збруч. Южнее, на Румынском фронте вспомогательное наступление было проведено 7–11 июля на участке южнее Пуфешти — через Фокшаны на Буззу. 14 июля оно было остановлено в связи с неудачей наступления на Юго-Западном фронте. В дальнейшем, в (6–13) августе попытка германского контрнаступления на Фокшаны, в долине р. Ойтуз, также не имела заметного успеха, и фронт стабилизировался.

П[уфешти], 9 июля 1917 г.

День рождения мамы. У нас он, бывало, всегда праздновался торжественно и, елико возможно, пышно. Как теперь? Празднуют ли?..

От тебя получил нынче три письма. <...> Здоровье твоё так себе — ни хуже, ни лучше. Ну, в первые дни дизентерии это уже большой плюс, и есть полная надежда, что в ближайшем письме ты мне напишешь уже об улучшении твоего состояния. А ты всё-таки всё бегаешь по частной практике, как нарочно тут подернувшейся. Ну что же, если за день один визит, не более, то я разрешаю, Шуручка. Но два раза в день бегать не годится. Нравится тебе, погляжу я, зарабатывать себе собственные гроши... И опять ты сегодня повторяешь: «Я знаю одно, что мне (!) нужно усиленно работать, чтоб свести концы с концами». Гордая ты, Шуручка, но тут-то бы лучше поменьше гордости, ей-богу... «Не должна страдать наша крошка ни в чём, пусть страдают её родители. Пока я (!) окончательно не сваляюсь, я (!) буду работать». К чему всё это говорить? Не слишком ли громко? Ведь что мы будем работать, сколько нужно и не дадим в обиду свою дочку, ведь это и так ясно, в доказательствах и уверениях совсем не нуждается... <...>

А тут с фронта доносится гул орудий, от которого мы уже совсем отвыкли. Что будет? Когда всё это с честью можно будет кончить и вернуться домой для работы над новым устройством свободной жизни?

Меня очень удивило и рассмешило, что ты собираешься голосовать за список № 6, то есть за группу «Единства»¹. Ах ты, ортодоксальная марксистка, мечтающая о разгроме Германии, о войне до конца. Ах ты социал-патриотка, в полемике пользующаяся самыми некрасивыми приёмами, сильными словечка-

¹ «Единство» — немногочисленная группа меньшевиков-оборонцев, которую возглавлял вернувшийся 31 марта из эмиграции патриарх русского освободительного движения Г.В. Плеханов, редактор издававшейся в Петрограде одноимённой газеты.

ми и передержками! Неужели Плеханов с компанией, ежедневно брюзжащий на страницах «Единства» и занимающийся самой нудной бесплодной полемикой в старом «истинно-марксистском» подпольном духе, — так неужели это твой идеал? Социал-патриотизм? Погляжу я, отстала ты и от политики. Пора, пора мне приехать... А я так очень рад, что «Единство» не получило на выборах ни одного места¹. Мы с тобой политические противники, Шурочка!..

Слабость какая-то странная в ногах остаётся, даже лёгкая атаксия². Не знаю, в чём дело. Сердце лучше. Поцелуй дочку.

И[уфешти], 10 июля 1917 г.

Получил твоё письмо от 28 июня. Оно вскрыто военной цензурой, чего не было уже, кажется, больше года. Вот уж, кажется, самые безобидные и для цензуры неинтересные твои письма! Могли бы и не стараться.

Твоё здоровье налаживается, слава Богу! Об Ириночке ты тоже пишешь, что она весела, играет, попивает молочко, славненькая, чистенькая. Ну уж если такая заботливая мамаша не находит ничего нехорошего, то можно быть спокойным <...>

Любопытно познакомиться хотя бы только на карточке с хвалёной твоей Хр.Ив. Что за чудо XX века! А всё-таки, Шурочка, говорит ли это чудо по-немецки? Было бы обидно, если нет.

Почему ты мне ничего не пишешь о результатах призыва врачей? Я ведь несколько раз запрашивал. Пойми, что на эти результаты я больше всего возлагаю надежду. Ведь хочется же верить, что скоро я буду у вас. <...> Неужели все призванные врачи только закреплены за своими постоянными местами, и весь призыв оказывается фикцией? Неужели этот вопрос в Москве никого не интересует, нигде не обсуждается? Неужели даже вы, жёны врачей, давно сидящих на фронте, не проявляете никакой инициативы, не возмущаетесь, даже не агитируете? Неужели этот вопрос так-таки похоронен?.. <...> Мало платонического желания вернуть нас с фронта. Любопытно хотя бы знать, в каком положении находится данный вопрос в настоящий момент. Нам надо, надо домой!..

Ноги у меня всё ещё слабые, хотя, в общем, чувствую себя уже совсем прилично. <...>

С фронта всё доносится грохот орудийной стрельбы. Хоть бы достреляться, наконец, до результата положительного!

А в Германии-то сдвиг!³ Нет, Шурочка, всё-таки до конца недалеко. А что ты скажешь по поводу событий в Петрограде?⁴ Наконец-то! Надо было дойти все-

¹ 25 июня состоялись выборы в Московскую городскую думу. Убедительную победу на этих выборах одержали эсеры, которые составили 116 из 200 гласных. В Московскую думу вошли также кадеты, меньшевики и большевики. Городским головой был избран эсер, врач по профессии В.В. Руднев, выразивший поддержку Временному правительству.

² Атаксия — нарушение координации движений.

³ 3 (19) июля Германский рейхстаг принял резолюцию о стремлении к миру без аннексий и контрибуций.

⁴ Провал июньского наступления на фронте и правительственный кризис обострили ситуацию в стране. 3–5 июля в Петрограде произошли массовые беспорядки. Сотни

му до логического конца. Если бы за компанию большевиков взяты пораньше, создали бы мучеников. Сейчас же выставили к позорному столбу и пригвоздили кучку негодяев, бандитов и глупцов. Это многих отрезвит.

Поцелуй дочку.

И[уфешти], 11 июля 1917 г.

Я сейчас ощущаю только боль и стыд... Под Тернополем наши землячки открывают фронт, не выполняют боевых приказов, «нестойки» в бою...¹ В Петрограде льётся кровь своих от своих же... Правительство разваливается... А тут у нас снова идёт наступление, берутся неприятельские окопы, и тоже льётся и льётся кровь во имя светлых идеалов, во имя грядущего братства народов мира, всего мира...

Что толку в этих сознательных жертвах, если там сзади в тылу предатели и изменники творят своё дело, а слепая масса им повинуется? Лучшие люди умирают, а подлые трусы остаются «творить новую жизнь». Мне стыдно! Неужели мы и в самом деле только мусор, только подходящее удобрение для пышного роста западноевропейской культуры? Неужели мы и в самом деле погибаем?..

Я ещё не потерял веры, не хочу её потерять. Но сознаюсь, тяжело становится верить. Почему так малодушно ушли кадеты²? Они не имели права уходить в такой момент. Почему уходит Львов³, Некрасов? Неужели Керенский и Церетели могут разорваться каждый на 20 кусков? Великие, святые они люди! Они — моя вера, моя надежда. Они докажут, что могут создать чистые и сильные люди, несмотря на всю нашу темноту. Они не уйдут, не умоют рук...

Прости, Шура, не могу я нынче ответить тебе на твой вопрос. Я, к сожалению, сейчас опять только гражданин, и как я не хотел писать тебе на гражданские темы, чтобы не огорчить тебя, не смог... Уж прости меня, Шура. Как тяжело жить, Шура, в наше бурное переходное время. Эпоха Наполеона, пожалуй, игрушка по сравнению с нашей. Хватит ли у нас нервов выдержать до конца? Увидим ли, как всё, наконец, разрешится так или иначе?..

Да, права мама: мы уже не доживём до счастливой мирной жизни. Нам суждены только бури, горе, страдания. Доживёт Ириночка. Для неё и её поколения мы страдаем. Они увидят плоды. Пусть хоть эта вера нас поддержит...

тысяч людей, в том числе вооружённые солдаты, рабочие и матросы, вышли на улицы с требованием отставки Временного правительства, передачи власти Советам и заключения мира, была применена сила с обеих сторон, пролилось много крови. Большевики предприняли безуспешную попытку воспользоваться стихийным антиправительственным движением и захватить власть. 4 июля Временное правительство ввело в Петрограде военное положение, начало преследование большевиков, расформировало взбунтовавшиеся военные части.

¹ Именно в этот день, 11 июля, Тернополь (Тарнополь), с августа 1914 г. занятый русскими войсками, был сдан неприятелю.

² Кадеты вышли из состава правительства в знак протеста против Декларации Временного правительства 2 июля по украинскому вопросу, в которой усмотрели превышенные полномочия в деле признания, хотя и с оговорками, автономии Украины.

³ Председатель Временного правительства и министр внутренних дел Г.Е. Львов (1861—1925) ушёл в отставку 8 июля, так как счёл для себя неприемлемыми демагогическую программу и диктаторские методы нового состава правительства.

И[уфешти], 13 июля 1917 г.

Уже в Германии начались новые настроения, уже лозунг «мира без аннексий и контрибуций» становился близкой реальной возможностью. Ещё небольшой натиск, небольшая демонстрация нашей устойчивости и непоколебимости, — и мы были бы у цели... И вот всё пошло прахом. Всем пришлось пожертвовать, может быть, на время, а может быть, и совсем. Слишком сильны центробежные разрушительные стремления.

Что нас теперь ожидает? Уже отменена часть свобод, уже введена принципиально смертная казнь¹ (и нельзя иначе!), уже фактически существует военная диктатура Керенского (я её приветствую!). Уже пришлось нашей революции сойти с такой чистой и прекрасной принципиальной позиции, уже пришлось примениться к обстоятельствам... Это тяжёлый удар по нашему самолюбию и не только по нему.

Эта проклятая война, которая нас душит, нас губит, из которой выйти мы никак не можем! Боже, когда же кончится это безумное разрушение и начнётся созидание! И в такое время, когда необходима интенсивная работа каждого из нас, чувствовать себя никому не нужным паразитом. Третий год!.. <...>

И всё-таки я веры не теряю! Ириночка будет жить в лучшие времена. Для неё наша эпоха будет предметом изучения в школе, — и только. Плоды увидит она, в мы едва ли доживём. Как тяжела сейчас жизнь, и как тяжела она будет в первые годы после войны! И всё-таки ни за что не променял бы я их на мирный покой и лёгкость жизни в годы до войны. Ни за что! <...>

Слабость в ногах как будто прошла. Здоров.

И[уфешти], 14 июля 1917 г.

Отвечу тебе на твой вопрос, ощущаю ли я Иринку, или нет. Конечно, Шурочка, не может она сейчас мне быть тем, чем она стала тебе. <...> Я же её видел только первые 10 дней, когда она была ещё комочком мяса. Мне не пришлось наблюдать её развитие, постепенный рост, появление осмысленности в движениях, взгляде и т. д. У меня нет и не может быть в настоящий момент личного к ней отношения. Ириночка пока, к сожалению, для меня почти только символ, и такой она для меня, конечно, останется до тех пор, пока я не поживу с ней и не послежу за ней хоть немного времени.

И[уфешти], 16 июля 1917 г.

Думали завтра перейти на новые места, но вот только что узнали, что остаёмся сидеть, где сидели. Впрочем, очень возможно, что мы с Сергеем Гавриловичем исхлопочем себе всё-таки переход в другое село. Здесь надоело. Всё равно штаб в трёх верстах, а в другом селе расстояние от него будет такое же. Посмотрим, завтра этот вопрос выясним. Впрочем, всё это малоинтересно.

Сегодня исполняется полгода со дня рождения нашей Ириночки... При других обстоятельствах мы бы отпраздновали этот день. Сейчас праздновать не при-

¹ 12 марта Временное правительство отменило смертную казнь, а спустя четыре месяца, 12 июля, с целью восстановления дисциплины и боеспособности армии вновь ввело её на фронте за убийство, разбой, измену и другие тяжкие преступления. 28 сентября действие этого постановления было приостановлено.

ходится. На душе и совсем не празднично. Кругом мрачные тучи, всё гуще надвигающиеся, всё чернее застилающие горизонт. И просвета почти не видно. 16-го января верилось в грядущую революцию, явно неизбежную. Было темно кругом, но чувствовалось приближение зари. А теперь? Что чувствуется? Неведомо всё. Есть ещё вера в отдалённое будущее, но нет уверенности в завтрашнем дне.

Хочется поверить хотя бы в близкий перевод в Москву, на смену. Хочется поверить в то, что как только снова разрешат отпуск, я первый поеду домой (так обещает Сергей Гаврилович). Хочется верить, но верится ли?..

Много ли я получу писем от матери или они скоро прекратятся совсем? Думаю, что прекратятся¹.

И[москуцени]², 18 июля 1917 г.

Я вчера не писал тебе. Мы провозились с Сергеем Гавриловичем, разыскивая на новых местах подходящую стоянку и укладывая вещи, а сегодня утром перебрались. Хата у меня симпатичная. Не знаю только, долго ли придётся здесь стоять. <...>

Ты снова доказываешь мне, что выезжать из Москвы нечего. Дорогая Шурочка, не уверяй меня больше в этом. Раз ты теперь находишь возможным оставаться в Москве, то, конечно, оставайся. Ведь почему я тебя уговаривал? Потому что из твоих писем мне стало ясно, что твоё положение в Москве невыносимо, что нет больше у тебя физических и нравственных сил бороться со всеми невзгодами. И что ты пересиливаешь себя, надрываясь... <...>

Теперь тон твоих писем стал другой. Ты нашла помощь. Христ.Ив. оказалась славным человеком. По-видимому, затруднения с пропитанием тоже не так непреодолимы — ты даже поговариваешь о возможности зажечь совсем буржуазной жизнью. Что же, конечно, я теперь тебя уговаривать не стану. Сиди себе в Москве, не теряй связи с клиником, больницей, приятями. Раз ты чувствуешь в себе силу бороться, то не нужно порывать со всем этим. Ириночка, конечно, первый свой год жизни с таким же успехом, как в деревне, проживёт и в Москве. <...>

Тебе вовсе не нужно убеждать меня, что мне необходимо кончить стаж в Морозовке. Я это знаю. Я только допускал одно время, под влиянием твоих писем, что этот стаж, это специализирование не удастся мне соединить с одновременным благополучием твоим и Ириночки, то есть всех нас, нашей семьи. А что для меня важнее? Конечно, моя семья. Ведь в ней моё счастье, а не в специализации! Это всё тот же эгоизм...

И[москуцени], 19 июля 1917 г.

Сегодня наездился и утомился. Был в интендантстве, где получал деньги. Был в штабе, где производились новые выборы в полковые комитеты. <...>

Эдит пишет, словно мы живём в глубоком мире. Не чувствуется даже тревоги. Она получила двухнедельный отпуск и уехала в деревню к двоюродной сестре

¹ Намёк на возможность сдачи Риги.

² Плоскуцени — село в 10 км севернее Пуфешти, на левом, восточном, берегу Сетрета.

Еве. Гуляет, играет на рояле, лежит на траве. «Это так приятно!» Скучно только то, что отпуск скоро кончится, и что на станции пересадки придётся просидеть всю ночь в ожидании поезда! Почему это я не получаю опять (!) отпуск? А дальше: тебе все шлют приветы и кланяются...

Шурочка, сегодня начинается четвёртый год войны. Очевидно, я стал совсем нехороший. Меня строки Эдит не радуют, а только злят. Я стал злой. Становлюсь уже не идейным, а самым грубым материальным эгоистом. Меня злит, что есть люди, которые кейфуют, прохладжаясь на травке, будь это даже сестра. Пройдёт это, Шурочка? Ведь скверно, если такая озлобленность останется на будущее время.

Меня злит, что в Москве сидят Ник.Ив-чи и Ив.Мих-чи, которым далеко не так необходимо сейчас быть там, как мне. Меня злит, что, очевидно, нет способов заставить и их почувствовать это и сделать отсюда выводы, что нельзя их вытащить нам на смену...

Вот они, наши нервы! Во что мы превратились! Эх, дети наши, дети, поймёте ли нас?

Эдит живёт в каком-то блаженном неведении, а ты чересчур остро переживаешь наши неурядицы. Ты перестаёшь верить в гениальность и здравый смысл русского народа! Народа, давшего Толстого и Достоевского, Репина и Левитана, Чайковского и Римского-Корсакова и т. д. и т. д.! На тебя производит удручающее впечатление «разоблачение» Ленина. (Между прочим, о разоблачении рано говорить. Я лично не верю в нечестность самого Ленина). Ты видишь преходящее, мелкое, но назойливое, бьющее по нервам, и как будто не замечаешь, что кроме разрушения идёт и процесс созидания, что кроме жуликов, есть и честные убеждённые люди, что тупой инерции масс противопоставлена проникновенная сила идеи, что кроме бездарностей у нас есть и крупные таланты. Процесс разрушения достиг своего апогея. Я вижу начало процесса собирания, строительства. Я всё-таки продолжаю глубоко верить в нашу Россию.

И[москвужени], 20 июля 1917 г.

У нас стоит несносная жара. Бельё липнет на теле. Разъезжать сейчас — пытка, пыль ест глаза. Но вообще-то в поле сейчас хорошо. Кукуруза местами с человеческий рост и выше. Виноград ещё не созрел, но гроздья его уже большие. Его так много, что, пожалуй, он достанется ещё и нам. Другие плоды земные все съедены земляками ещё зелёными. Тут иначе, чем в Волины. Красного мака я совсем нигде не видел.

Вот пришлось за войну познакомиться с разными краями, а дома всех лучше. Уж тут ничего не поделаешь. <...>

Ты пишешь о возможности приглашения тебя в Воспитательный дом¹. Конечно, не следует забирать слишком много работы. Это тебе будет не по силам. Но зато ты будешь иметь выбор, сможешь отобрать себе работу по душе и удобную в смысле распределения времени.

¹ Московский Воспитательный дом, построенный ещё при Екатерине II, в советское время Дом охраны младенца, спустя годы НИИ педиатрии АМН СССР, в котором много лет работала Александра Ивановна.

Ты понемногу входишь корнями во врачебную Москву, упрочиваешь свои связи. Как далеко это от меня! Я сейчас ничто, форменный нуль, никому как врач не нужный и ничего не знающий, всё позабывший... Бывший человек! Имеется ли ещё будущее? Настоящего нет. Скверное дело, Шурочка.

Я почему-то часто мечтаю о том, что вот после войны выпишу все вышедшие тома «Ergebnisse d.i. Medizin u. Kl.»¹ и буду читать, заниматься. Практическую работу я себе уже плохо представляю. А другой раз хочется только читать «Войну и мир» Толстого, — и больше ничего.

И[москвцени], 22 июля 1917 г.

Ты пишешь, что мы ведь имели право на свидание, и спрашиваешь, как его осуществить. Не знаю, Шурочка. Нравственное право видеть свою семью после трёх лет разлуки мы имеем все без исключения, не только я один. Отпуска сейчас разрешены только в случае удостоверенного местным общественным комитетом несчастья дома, как-то: тяжёлой болезни или смерти ближайших родственников. Но такой ценой я не желал бы вернуться в Москву... А врать, Шурочка, в этом вопросе я не могу. Придётся дальше нести свой крест. Уже полгода прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз. А ведь терпим. Только как? Во что нам это обходится?.. <...>

Почтовая бумага на исходе. Что я буду делать?

И[москвцени], 23 июля 1917 г.

Письмо твоё почти большевистское. Ты там приглашаешь всех страждущих за родину здоровых мужчин из тыла отправиться на фронт. Дать бы «всю власть солдатским жёнам», пожалуй, мероприятия посыпались не менее решительные, чем если бы вся власть сосредоточилась в руках Советов рабочих и солдатских депутатов. Уж вы бы не постеснялись почистить тыловые Авгиевы конюшни. Да, по собственному почину, из любви к родине ни Скворцовы, ни кто бы то ни было не поступит ни пядью своих личных интересов, ни малейшей долей своего насиженного благополучия. Разве мы граждане? Всё это в более или менее отдалённом будущем. Сейчас только создаются условия для этого будущего. Личные узкоэгоистические интересы, конечно, берут верх. Ведь мы все обыватели и такими ещё долго останемся.

Ты думаешь, Шурочка, что сейчас и я, наверное, потерял свой оптимизм. Что есть оптимизм? Ты знаешь, что в победоносную войну для нас я не верю с ноября 1914 г., что с первых дней революции я в этом отношении поставил совсем скверный прогноз. Я тогда говорил, что наличный состав армии на фронте ещё исполнит свой долг, но пополнение, развращённое тылом, окажется, выражаясь мягко, не на высоте.

Так ведь и оказалось. Тут не может быть речи о крушении моего оптимизма. Его просто не было. Нам необходимо с грехом пополам дойти до худого мира. Но это возможно только со всеми воюющими. Надо как-нибудь дотянуть, и стараться дотянуть получше. Вот так я себе представляю дело.

¹ «Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde» («Достижения медицины внутренних органов и педиатрии»). Берлин, периодическое издание

Верю же я в то, что народ столь высоко одарённый, создавший великую национальную литературу, искусство и музыку, не может погибнуть зря, должен в конце концов найти в себе силу созидательную, творческую, организующую. Должен найти в себе и талант государственного строительства. Ведь у нас нет навыков, кроме подпольных, узкофракционных. Мудрено ли, что нам приходится сто раз ошибаться, прежде чем найти правильный путь, до всего доходить горьким опытом?..

Принципы же нашей революции чисты, достойны великого русского народа. Я вижу вполне логическое закономерное развитие событий. Я вижу, как силы творческие берут верх над силами разрушающими. Я вижу определённую основную линию, по которой идёт революция. К чему же мне терять свой «оптимизм»? Я наблюдаю ход истории. Всё идёт, как следует быть...

И[лоскуцени], 24 июля 1917 г.

Завтра мы опять переезжаем на новые места. Сегодня уже ездили с Гаврилычем и высматривали себе помещение. Вечно странствующие... <...>

Мать пишет, как всегда, подробно обо всём. В общем, мало весёлого. Отец хвораёт лёгкой дизентерией. Жизнь становится всё дороже и дороже. Перспективы будущего мрачны. Зато наконец-то Лени хорошо поправилась, потолстела, а температура её постоянно ниже 37°. Давно пора. Эдит безмятежно провела две недели в деревне и столь же безмятежной вернулась. Есть такие счастливые натуры. <...>

Опять доносится гул орудийной стрельбы. На этот раз пытаются наступать они. Боже, когда же, наконец, можно будет забыть о том, что была война, был ужас...

Гомосца¹], 27 июля 1917 г.

Чувствую себя неважно. Стоит большая жара и ужаснейшая пыль по дорогам. От этой пыли я схватил неприятнейший насморк и ларингит. Голова тупая, тяжёлая. Настроение скверное. На душе тоже тяжело. В непосредственной близости от нас уже несколько дней идёт упорный бой. Гул артиллерии несмолкаемый. Положение довольно тревожное. Что будет завтра, и где мы будем?..

Третьего дня мы переехали сюда, ближе к горам. Наша хата (мы поместились опять вместе с Сергеем Гавриловичем) стоит на краю небольшой горки, откуда, однако, открывается чудеснейший вид на окрестности и отчасти в долину, где идёт бой. Видны разрывы неприятельских снарядов, гулко раздаётся эхо. Увидеть бы, наконец, мирные картины!..

От тебя всё ещё нет писем. Газеты также запаздывают. Некоторые наши внутренние новости мы раньше узнаём из германских радиотелеграмм!

Устал я от всего ужасно. Была бы хоть апатия, равнодушие, но этого нет. Мне не безразлично, что кругом творится. Мне больно...

¹ Гомосца — (ныне город Хомосеа?) город в 17 км севернее Пуфешти на левом, восточном берегу р. Серет, напротив города Аджуда.

[Мосца], 29 июля 1917 г.

Идёт непрерывный бой. Положение тревожное. Возможен сегодня же наш уход отсюда. Снаряды рвутся уже недалеко на горке. Вчера мы вчетвером (Гаврилыч, Вас. Мих., Женья и я) поехали смотреть бой. Были на наблюдательном пункте батареи. Должен сознаться, что мало понимал, что передо мною творилось. В общем, каша какая-то. А когда противник начал обстреливать батарею тяжёлыми снарядами, и чемоданы стали падать уже совсем недалеко от нас, а раз даже осыпало осколками, я дёрнул Гаврилыча за рукав и напомнил ему, что у него есть жена и ребёнок, которым он ещё понадобится. В общем, война, лишний раз я в этом убедился, скверная штука, «нуи бун», выражаясь по-румынски. <...>

Получил вчера от тебя два письма. <...> Написал нам вчера и Сергей Михайлович. Между прочим, он пишет, что «Краузе я всё-таки надеюсь устроить в Москве». Дай-то Бог! Шурочка, ты только подумай, какое это было бы счастье! Мне даже не верится, что это возможно. Я изверился, я так устал. Мне решительно всё равно, какое я буду получать жалованье в Москве, буду ли голодать, буду ли завален работой или нет. Мне нужно быть опять с вами, опять в культурной обстановке, далеко от войны. Я так ненавижу её!..

И всё-таки, Шура, я не понимаю, как ты можешь говорить о «жалком лепете, что войну надо продолжать» и т. д. А как ты её закончишь? Укажи путь. По-большевистски бросить оружие и уходить в тыл? Это не выход. Чувства чувствами, а руководиться приходится не только ими. Разве Керенский и Церетели стали бы продолжать войну хоть один лишний день, если бы это было возможно не делать? Конечно, нет. Уж такова наша проклятая доля.

Ты, Шура, пишешь о представившейся возможности снять квартиру, хотя и мало удобную. Конечно, нужно брать. Если всё-таки ты найдёшь лучшую (всё может быть), ты всегда сможешь её передать кому-нибудь. Я хочу квартиру, а не комнаты.

Почему ты мне ничего не пишешь, предпринимаешь ли ты какие-нибудь шаги, чтобы получить у воинского начальника недодаваемые 300 рублей? Ты мне так плохо отвечаешь на вопросы, так редко откликаешься... Ириночку поцелуй.

[Москуцени], 4 августа 1917 г.

Сколько дней я не писал тебе, Шура! Последний раз, кажется, 29-го июля. В тот же вечер нам пришлось спешно переехать опять сюда в П[*Москуцени*], где мы стояли уже одну неделю. Все эти дни на нашем фронте шёл жестокий бой с переменным успехом. Настроение временами было тревожное. Лазареты, интендантство и почта переведены за реку С[*ерет*], и все эти дни мы не получали ни писем, ни газет. Сегодня наконец сообщение восстановлено, и я получил от тебя три письма <...>. Сегодня стих бой.

Прежде всего — ты нашла квартиру! Ура! Этим ты меня страшно обрадовала. Жаль только, что не сообщаем все подробности, когда переезжаешь и т. д. Хочу также скорей узнать точный адрес, чтобы писать тебе к моменту переезда уже на новую квартиру. Огорчила же ты меня словами о том, что будто бы с горечью думаю, что приходится мне высылать вам деньги, а вы пользуетесь удобствами. Не должна была бы ты так писать, и я не заслужил этого. Ведь верно? Ну, Бог с тобой. <...>

Ты пишешь о том, что месяца через два-три ты подашь прошение о переводе твоём на моё место. Это, конечно, ерунда, Шурочка. Да неужели ты в этом видишь выход из положения? Неужели мне будет легче вместо тебя сидеть в Москве, а ты опять будешь далеко? Чудачка ты, ей-богу. А всё-таки хороши наши «товарищи», не переводящиеся на фронт. Я даже думаю, не написать ли в Морозовскую больницу всем товарищам письмо с комментариями к статье Жбанкова во «Власти народа» об «уклоняющихся врачах»?¹ Реагировать реально они, конечно, не будут, но пусть хоть услышат голос с фронта, может быть, по ночам иной раз и почувствуют некоторые угрызения. Позор им! Если нельзя сменять офицеров, то ясно, что не надо сменять и врачей. Аргумент! Пусть правительство призывает. Тоже аргумент! Стыдно!

М[осквлянин], 5 августа 1917 г.

Как часто в твоих письмах встречается слово «страдать». Забота об Ириночке — страдание, все теперь вообще — страдают, и т. д. и т. д. Торжествуя ты констатируешь, что и я теперь стал пессимистом. Не наклеивай на меня ярлык, Шурочка. Всё-таки и сейчас я отвергаю пессимизм. Не по мне он. И если ты к моим словам, что тяжело жить, прибавляешь «и главное, беспросветно тяжело», то я убеждённо отвергаю это «беспросветно». Если бы я когда-нибудь дошёл до убеждения в беспросветной тяжести жизни, я бы застрелился или повесился. Но я убеждён, что это со мной никогда не случится.

Да, тяжело жить сейчас, но надо перетерпеть, перестрадать (опять: страдать!) до лучших времён, которые, несомненно, наступят. Надо готовиться к ним, не растрчивать к этому часу свои душевные силы — пригодятся ещё... То же и в политике. Разве можно было бы жить и работать в теперешней России, не веря в будущее? Конечно, нет. Нужно работать, нужно каждому в узких своих пределах (скучно сказано!) честно служить общему делу. И в том-то и беда моя, что у меня здесь нет никакого дела, и ничем я служить не могу... Но это моё личное горе, и оно, конечно, не заставит меня разочароваться во всём и во всех. Я верю в величие России и от этой веры, конечно, не откажусь.

Ты пишешь о Карлушке. Спасибо тебе, дорогая, за этот ответ, который ты дала от меня и себя. Только я не думаю, что они его пришлют к нам в Москву. Да боюсь, что он и не устроится здесь. Ведь наплыв на медицинский факультет огромный, а он, к тому же другого учебного округа. Вероятно, и в Москве его не примут.

Тесно вы будете жить, Шурочка! Ещё чего доброго для меня места у вас не найдётся. Ну, ничего, ещё немного потеснитесь. Мне ведь много не нужно. Я теперь не очень-то избалован.

Неужели Христина Ивановна такая славная, что не предъявляет никаких претензий? Дай Бог ей за это доброго здоровья. И Соня хорошая. Передай ей мой привет и уверенность, что скоро мы с ней будем добрыми соседями.

¹ Жбанков Дмитрий Николаевич (1853—1932) — видный деятель земской медицины, секретарь и член Правления Пироговского общества (Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова), автор много численных работ по общественной медицине.

П[лоскуцени], 6 августа 1917 г.

Ты «всё-таки не совсем понимаешь», почему у нас прекращены отпуска, которые ведь поддерживают дух. Шурочка, отпуска в последнее время, несомненно, не поддерживают духа, а просто окончательно расшатывают дисциплину. Ведь одновременно в отпуск отпускали 7%, а фактически и того больше. Многие совсем не возвращались или приезжали с опозданием. Всё это сходило с рук за недостаточностью дисциплинарной власти начальников, и разруха в армии продолжала усиливаться. А ходить в бой, зная, что через несколько дней или недель очередь ехать в отпуск, дано не всякому. И тут сказывалась наша некультурность, невоздержанность. Пришлось волей-неволей прекратить отпуска, чтобы армия окончательно не растаяла.

Да, я думал, что к этому времени я уже буду у тебя, а вот не пришлось. Всё это неизбежно, и изменить я тут ничего не могу. В случае, если вновь откроются отпуска, мне, вероятно, придётся ехать первому. Но я всё-таки надеюсь, что раньше состоится мой перевод в Москву. Я просто не могу себе представить, чтобы мне и грядущую зиму пришлось сидеть не с вами. Это не может быть. Есть тут славные люди, с которыми мне жаль будет расставаться, а жить с ними ещё год мне кажется самой тяжёлой каторгой.

Нет, вы там, в тылу должны же, наконец, организовать смену. Это будет, хотя и поздно, как всё у нас.

П[лоскуцени], 14 августа 1917 г.

Я тебе опять не писал несколько дней подряд. Прости меня, родная. Мне так тяжело, что ни за что не могу взяться, даже за письмо тебе. <...> Хожу я мрачный и угрюмый, на всех огрызаюсь. Злой я ужасно. Матери тоже не писал уже недели три! Чувствую, что вновь приближается прошлогодний период настроения духа. Скверно.

К тому же опять начинаются после краткого затишья последних дней бои, которые тоже действуют на нервы. А вчера вечером мы проводили 29-й отряд, уходящий из нашего корпуса совсем в армию. К нему мы последнее время очень привыкли, они к нам тоже относились хорошо. Также жаль было их уступить. Одно к одному. И в итоге — на душе скверно, скверно.

К счастью, я вчера получил следующие твои два письма. <...> По крайней мере узнал, что ты снова поправилась. Да и общий тон этих писем всё-таки не такой безнадежно грустный. <...> Но я совсем хорошо тебя понимаю, когда ты пишешь, что тебе непонятна психология людей, толпящихся у кинематографов, нарядных дам и праздных шатунов. Теперь, на четвёртый год войны, после потрясений революции, когда государство стоит перед крахом, и правительство призывает все живые силы страны спасти родину, — теперь я нахожу преступным всякое стремление к удовольствиям, забавам. На месте правительства я теперь безжалостно закрыл бы по всей стране все театры, кинемо, рестораны и т.п. Я знаю здесь людей, которым невообразимо тошно становится, когда они читают в газете публикацию о каком-нибудь «Пупсике» или «В чужой постели»! Ведь это издевательство над нами здесь. Невыразимо тошно становится мне также, когда я вспомню встречу, устроенную нам в январе Николаем Ивановичем [Скворцовым], с ассистенткой, рябчиками и т. д. Противно всё это. Если мне

будет суждено скоро вернуться в Москву, я товарищей не пощажу. Уж это как пить дать! Наслушаются горьких истин. По-видимому, Сергей Иванович разделяет более или менее моё настроение.

Тебя, Шуручка, удивляет, почему я не жалуюсь на солдат. Очень просто. Поэтому, что ничего слишком плохого от них и у них не вижу. Их грехи — это наши общероссийские грехи: темнота, привычка делать всё из-под палки. Они в этом отношении далеко не худшие. И были бы они ещё лучше, если бы ваш ужасный тыл не развращал их систематически. В общем, это те же дети — их нужно воспитывать, а не сердиться на них и сваливать на них собственные грехи. Я знал бы, что ответить вашим Борисам Абрамовичам!..

За обещанную почтовую бумагу спасибо. Может быть, вышлешь и кой-какие книги из заказанных мною весной?..

П[лоскуцени], 16 августа 1917 г.

Ещё третьего дня вечером неприятель начал обстреливать из дальнобойных (не меньше 12 вёрст!) орудий наше П[лоскуцени], причём первые три снаряда легли совсем поблизости от нашей стоянки, так что осколки сыпались на наш двор. Я тотчас же со своим отрядом выбрался в другой край села, где и переночевал, а вчера с утра мы стали себе искать более подходящую стоянку и нашли её за окраиной села среди виноградников, где оказалась маленькая хатка без окон и дверей. Туда перебрались мы и Гаврилыч со своим отрядом. Штаб остался на месте.

Здесь хорошо и привольно. Некоторые сорта винограда уже созрели, и мы их уничтожаем в порядочном количестве. Одно хоть удовольствие осталось в жизни, которым пользоваться не совестно.

Вчера же днём, только что мы устроились на новом месте, пришлось нам с Гаврилычем поехать на совещание врачей, где и провозились до вечера, вернувшись домой поздно. Между прочим, на этом совещании было решено отправить меня с отрядом опять временно в распоряжение интендантства, так что я, вероятно, на этих днях расстанусь со штабом. Я ничего не имею против такого временного перехода. Думаю воспользоваться этим временем для некоторого урегулирования хозяйственных дел отряда, чистки и обновления. Может быть, и на душе, после перемены обстановки или, вернее, ближайшей среды, станет немного спокойней. <...>

У нас бои на фронте идут снова ожесточённые. Кровь льётся широкой рекой. «Пядь за пядью», но во сколько обходится каждая пядь! Бессмысленный ужас, позор нашего высококультурного века! Вот папа римский снова обратился с воззванием к правительствам начать же, наконец, выяснение того, что каждый желает себе заполучить, ради чего воюет¹. Но, очевидно, и эта попытка всё ещё преждевременна, всё ещё берёт верх ненависть, озлобление и ослепление.

¹ Во время мировой войны римский папа Бенедикт XV неоднократно выступал с миротворческими и гуманитарными инициативами. 1 августа 1917 г. он обратился к правительствам воюющих держав с призывом прекратить кровопролитие и начать переговоры о мире.

А природа сейчас такая восхитительная! Стоит жаркая, знойная погода. Кругом сочные поля кукурузы и необработанные в этом году виноградники. Чётко обрисовывается вдали высокий горный берег С[ерета], а впереди далеко знаменитая высота №..., находившаяся всю зиму в руках противника, стерегущая всю нашу долину между горами и рекой. Оттуда он всё видит.

Как тихо красиво ночью при луне на нашей даче среди винограда! И каким грубым диссонансом, пощёчиной природе, звучит далеко слышное шипение и тяжёлое железное кряканье гостинцев, которые «он» бросает нам в село аккуратно через каждые полчаса. А утром вспыхивающий по всему фронту ураганный огонь... Ведь это же оскорбление человечества, его достоинства!..

Вот сегодня я писал тебе только о себе. Ты довольна?

П[лоскуцени], 17 августа 1917 г.

Сообщение с наружным миром опять затруднено. Живём отшельниками здесь на своей «даче». Наши люди блаженствуют среди кукурузы, винограда и овощей. Хозяев нет. Наконец-то настали для них времена, когда можно питаться, не считаясь с казённой нормой, в полное своё удовольствие. Недолго им придётся, пусть пока покормятся!

Бой сегодня как будто стихает, но положение тревожное. Мы все начеку...

Вот так мы тут живём в культурном XX веке! Сами не то охотники, не то дичь... Где же культура, Шура?

Я тебе недавно, вот когда несколько дней не писал, отправил коротенькую телеграмму: жив и здоров. А ещё раньше, кажется, послал 700 рублей (за июнь и июль) ещё по старому адресу. Получила ли?

Я опять живу в полном разладе со своей кассой. Не знаю, сколько у меня денег, да и есть ли какие. Кажется, уж ничего решительно не трачу, а расходы всё-таки есть. И откуда берутся? Ну, вот попаду на днях в интендантство, тогда всё приведу в порядок. Пора этим заняться. А то и в самом деле переведут вдруг в Москву, а у меня задержка... Ведь можно тогда умереть со злости. А когда же меня переведут?..

Вот Ириночка уже совсем большая, стоит на ножках, хохочет. А я с ней всё ещё не знаком. <...> А всё-таки хорошо, что хоть при мне родилась, а не после моего отпуска, как тебе тогда хотелось. <...>

Стоит жара. Тишина в воздухе. Красота кругом. Жить бы людям в мире и наслаждаться благами природы! А вот увидишь, настанет время, и поздние поколения с гордостью будут читать о нашем «героическом» времени, о подвигах своих предков. Всё относительно на этом свете. Суета сует!

П[лоскуца], 25 августа 1917 г.

Я такой нехороший, моя Шурочка, и я знаю, что ты мне не простишь, и всё-таки попрошу тебя быть снисходительной. Я не писал тебе, кажется, целую неделю! Небывалый раньше случай. Но и настроение, состояние духа у меня ведь тоже небывалое.

Дня 2—3 не писал тебе из-за убийственного настроения, а 20-го пришлось выехать по делу в гор. Б[ырлад], где застрял вместо полутора на трое суток. А от-

туда вернулся опять в П[лоскуцени], где вчера и пробыл, и где только узнал печальную весть о сдаче Риги¹...

Отряд свой я ещё 20-го числа отправил сюда в П[омосцу]. А сам приехал сюда только нынешней ночью. Теперь я тут разложился и устроился, и настроение стало лучше, покойней. <...>

И такое усталое, безжизненное письмо я пишу тогда, когда только что узнал об отдаче Риги, когда неизвестна судьба родителей, братьев и сестёр, когда ты мечешься там в Москве и не находишь себе покойного места, когда даже ближайшее будущее покрыто тяжёлым мраком... Но что я поделаю? Я устал.

П[омосца], 27 августа 1917 г.

Вчера утром занимался канцелярией, а после обеда уехал в управление интенданта за разрешением ряда вопросов. Оказывается, что мы опять уходим. Завтра вёрст на 30 ещё передвинемся к северу. Может быть, хоть теперь дадут возможность несколько отдохнуть нашему корпусу. Уж лишком он истрепался в последних боях. А там, куда нас бросят? Не на Северный фронт ли? Или нам суждено оставаться в богоспасаемой Р[умынии] до конца войны?

Мне теперь всё равно. Единственное, к чему я стремлюсь всей душой, это возвращение в Москву, хотя пока ещё не представляю себе, на какие средства мы там проживём, раз даже сейчас, когда в твоём распоряжении имеется месячный доход свыше 550 р. (около 600 р.?) у тебя ничего не остаётся про запас. А ведь я знаю хорошо, что ты живёшь скудно, не трата лишнего.

Чем вы там сейчас вообще питаетесь? Норма хлеба у вас уже ? фунта [205 г]! Нам тоже снова сократили все рационы, и мы теперь получаем тоже только полтора фунта хлеба, а крупа уменьшена с 24 зол[отников] до 8 зол. [34, 1 г]! Да и «крупа»-то почти только кукурузная. Сейчас нас поддерживают овощи, которых пока много. Но что будет зимой, когда мы будем зависеть только от подвоза? Что станет с нашими лошадьми, уже сейчас, несмотря на пашню, истощёнными?.. Как вы там проживёте зиму в Москве?

Много зловещих вопросов... И неужели бойня народов будет продолжаться? Не верю я этому, не хочу и не могу верить. Ещё немного, и начнутся переговоры, начнутся стихийно, ибо нет уже физических сил у народов...

Ты удивляешься, почему я не выражаю никакой тревоги за судьбу оставшихся в Риге родных. Почему даже не упоминаю о них? — Я и сам удивляюсь, но должен констатировать глубокое моё равнодушие и безразличие. Тебе уже говорил: одна у меня мысль — попасть в Москву. Я готов сидеть в Москве в голоде и холоде, работать по 20 часов в сутки, но только при условии быть с тобой и Ириночкой и работать по специальности. Не могу я больше переносить фронт. Я должен, наконец, опять вести осмысленную жизнь. Прозывать так зря мне больше не по силам.

Три дня назад нам писал Сергей Михайлович. Вопрос о смене врачей глубокого тыла он считал по своим сведениям безнадежным. Здесь, однако, из армии получены достоверные сведения, что на днях произойдёт широкая замена нас здесь тыловыми коллегами, что карточки наши в Питере уже разобраны, и

¹ Рига была сдана 21 августа.

почти все желания удовлетворены! Сведения эти поступили в Санитарный отдел армии. Дай-то Бог! Пусть на этот раз Сергей Михайлович окажется напрасным пессимистом.

*Д[рзгешти]*¹, 31 августа 1917 г.

Думаю, что теперь постоим на одном месте подольше. Завтра устроюсь, налажу свою деятельность, тогда снова буду тебе писать регулярно. Теперь мы здесь на отдыхе между городами А[джуд] и Б[акзу], в тылу города О[нешти], где мы стояли в прошлом году. Тут мы находимся на краю гор. Наша деревня в долине. Соседние деревни тоже в долинах, отделённые невысокими гребнями. Места тихие и живописные. Я теперь числюсь за интендантством и стою около хлебопекарни. Сергей Гаврилович от меня верстах в пяти-шести. Как нарочно, нам пришлось разойтись в такое тревожное время, когда, наоборот, следует теснее сплотиться.

Сильно будоражило всех предприятие Корнилова². В штабе старались было сначала скрыть телеграммы Керенского³. Однако они были получены по радиотелеграфу. Безусловно верны Временному правительству, кажется, только Сергей Гаврилович, я и Женья. Все офицеры нашего штаба не скрывают своих симпатий Корнилову. Характерно, что третьего дня при перевыборах полкового комитета Сергей Гаврилович и Женья, бывшие членами его (С.Г. — председатель!), получили только по 4 голоса, провалились с треском, и избран новый, «Корниловский» состав офицеров. Не понимают эти люди, что они шутят с огнём. Ведь в солдатских массах вновь вспыхивает не только недоверие, но и озлобление против офицерского состава. Не видят они, что сидят на вулкане... Могут доиграться, как доигрался уже, по-видимому, сам Корнилов. Какие слепые они политики! Как лишены всякого чутья!

Нет у нас ещё никаких известий из России, но хочется верить, что авантюра Корнилова и Союза офицеров при Ставке⁴ не встретит нигде сочувствия, даже в рядах партии испугавшихся интеллигентов. Ведь эта авантюра обречена явно не неуда-

¹ Деревня Дрзгешти в 13—14 км севернее Гомосцы, вблизи восточного берега р. Серет.

² 27—31 августа генерал от инфантерии, верховный главнокомандующий *Лавр Георгиевич Корнилов* (1870—1918), опираясь на верные ему части, предпринял неудачную попытку принудить правительство к установлению твёрдой власти и предотвратить разрушение российского государства («Корниловский мятеж»). Один из создателей Добровольческой армии на Дону. Назвать действия Корнилова попыткой установления военной диктатуры можно с оговорками, так как он не собирался брать на себя всю полноту власти, а намеревался предоставить её правительству нового состава. При этом он согласовывал свои действия с Керенским.

³ Хотя действия Корнилова были заранее согласованы с Керенским, министр-председатель 27 августа оповестил страну об «измене» Корнилова делу революции. Телеграммой он потребовал, чтобы Корнилов сдал должность начальнику своего штаба и немедленно прибыл в Петроград.

⁴ Союз офицеров армии и флота при Ставке верховного главнокомандующего — самая массовая офицерская организация, образованная в мае 1917 г., всецело поддерживала требования, предъявленные Корниловым Временному правительству и направленные на ликвидацию анархии в стране и в армии.

чу. Неужели это не ясно? Твёрдо надеюсь, что введённый Корниловым же военно-революционный суд¹ докажет ему, что восставать против законного правительства преступно не только для солдата, но и для верховного главнокомандующего. Пусть понесёт он заслуженную кару, чтобы впредь другим повадно не было. Я начинаю верить, что даже столь быстрый отход наш от Риги задуман всё тем же Корниловым в видах устрашения страны. Тупость и преступность наших генералов безгранична. Не должно быть таким людям места в армии. Несчастливая страна! Когда же, наконец, восторжествует элементарная честность! Да здравствует Керенский!

Д[рзгешити], 1 сент[ября] 1917 г.

Теперь буду писать тебе более регулярно, моя Шуручка. Кажется, наконец, устроился попрочней. Если только нас всех не возьмут опять на фронт.

От тебя получил за последние дни снимок, где Ириночка сидит на горшочке. Ты его считаешь неудачным, а я его нахожу прелестным. Не беда, что вы обе двигались в момент съёмки, зато вы вышли удивительно естественно, особенно наша девочка. Реализм переходит в натурализм. Мне этот снимок нравится гораздо больше, чем фотографии специалиста. <...>

О переводе ничего не слышно, отпуска всё ещё запрещены и, вероятно, не скоро возобновятся. Кругом темно... <...>

Об авантюре Корнилова тут ходят фантастические слухи, будто бы около ст. Луги идёт бой с его войсками, которых он набрал 120 000 человек. Я этому не верю. Это невозможно. Его затея обречена на гибель, нежизненна, не имеет корней в армии. Его дни сочтены.

Как мы здесь отстаём от всех вас!..

Д[рзгешити], 2 сент[ября] 1917 г.

Четвёртая годовщина...² И все они проведены в разлуке, на войне... Не могу я поверить, что и пятая годовщина будет подобна этим четырём. <...>

А где моя родня? Что случилось с ними в Риге? Живы ли?.. По газетным известиям, Рига в последний день сильно пострадала, наполовину сгорела; много убитых и отравленных газами среди жителей... Когда мы получим весточку оттуда, хоть несколько слов?.. А что будет с Витюшей?³ В предстоящих боях он имеет ничтожный шанс остаться целым и невредимым... Может быть, он уже лежит в каком-нибудь госпитале?..

Было тяжело в 14-м году, но каким пустяком кажется сейчас эта тяжесть! Сначала медленно, потом всё скорее нарастала она, а сейчас становится уже совсем непосильной, чрезмерной. <...>

Уже наступает осень, и дни становятся прохладными. Неужели к первому снегу я всё ещё буду далеко? <...> Кругом темно, как никогда. На душе тяжело, как никогда. Во что верить, на что надеяться? А нельзя жить без веры, без надежды...

¹ Военно-революционные суды при дивизиях были введены по настоянию Корнилова 12 июля, одновременно с восстановлением смертной казни.

² Вновь годовщина признания влюблённых.

³ Виктор, младший брат Ал.Ив., находился в армии, в районе Риги.

Д[рэншты], 4 сентябры 1917 г.

По газетам выходит, что Рига почти сутки находилась под артиллерийским обстрелом, да ещё частью химическими снарядами. Но это ещё полбеды. Если они сидели дома, то все шансы за то, что они остались невредимы. Но скверно то, что, как оказывается, и этот отход сопровождался обычным уже при нашей культуре погромом. Вот это меня очень сильно тревожит. Ведь это же сплошной ужас! Обнадёживает меня несколько то, что всё-таки громадный город весь не разгромишь, что пострадали, вероятно, главным образом магазины, и что родные живут в верхних этажах большого дома. Но когда мы получим весточку от них? Может быть, придётся ждать месяцами. Может быть, об их судьбе узнаем только по окончании войны. Во всяком случае, нам едва ли придётся их навестить с тобой по заключении мира, и неизвестно ещё, когда ты с ними познакомишься...

Ты пишешь, моя Шурочка, что ждёшь меня для совместного страдания... Вся душа моя протестует против этого. Я не хочу больше страдать. Я страдаю оттого, что не живу, а прозябаю. Если я буду опять с тобой, если буду работать, если буду в культурной обстановке, я буду *жить*, а жить и страдать для меня далеко не одно и то же. Жизнь сама по себе радость, а не страданье. Страданье — это всё то, что мешает нам жить, что не даёт нам проявить все те дарования, которые заложены в нас природой. Страданье — элемент привходящий, посторонний, по существу чуждый жизни. Нет, Шурочка, не хочу я больше страдать, когда вернуться к вам. И не буду! <...>

Я тебе вчера выслал 350 р. Почему не отвечаешь, была ли у воинского начальника и выяснила ли квартирные? Ведь так мы теряем 300 р.! Не следует. Пока от тебя посылки нет.

Д[рэншты], 5 сентябры 1917 г.

Опять нет письма. Нет также до сих пор последних писем из Риги. Последнее от них — секретка от Эдит, от 25 июля. Не может быть, чтобы они почти целый месяц совсем не писали. И непременно мать постаралась ещё до 20-го, перед сдачей города, послать мне через кого-нибудь последнюю весточку. Я жду с нетерпением. Неужели ничего не дойдёт до меня? Так тревожно на душе. Хочу и от тебя, наконец, услышать, что ты переехала на новую квартиру, что ты не мытарствуешь более у чужих.

Революция наша уже справила свой полугодовой юбилей, уже, говорят, у нас объявлена республика, а я ещё ни разу не был в новой России и знаком с ней только по газетам и твоим письмам. Если дело так пойдёт дальше, у нас, в конце концов, вновь воцарится какая-нибудь «бледная тень», и я приеду в отпуск опять в империю, не видав ни республики, ни свободных граждан... Я не хочу оставаться лишь газетным наблюдателем!

Гаврилыч такой же несчастный. Через два дня он, однако, посылает одного своего человека в Харьков за морскими свинками, и тот заодно заедет и к нему в Лебедин. Он жене и дочке посылает румынских гостинцев: несколько кочанов спелой янтарной кукурузы, ветку с растущими на ней грецкими орехами, просто тех же орехов, и немного отборного винограда, а также бутылочку-две местной «цуйки», вроде галицийской сливовицы (водки из слив). Если достанет, то по-

шлёт и бутылочку молдавского вина. Мы его недавно пробовали; штука чрезвычайно вкусная — ароматная, сладкая и крепкая. Осенью в Румынии жить можно недурно. Овощей и плодов земных в изобилии.

Зато к тому же времени появилась здесь новая напасть и в последние дни принимает весьма обширные размеры — это какая-то, инфекционная, по-видимому, желтуха. К счастью, она протекает сравнительно легко и, кажется, смертных случаев не было совсем. Из моих 13 человек заболело трое! Отправили мы недавно с той же желтухой и Екатерину Константиновну. Хворают и офицеры.

Занялся ею Сергей Гаврилович. Хочет определить её бактериологически. Для этого ему и понадобились морские свинки. Мы теперь все при встречах проверяем друг у друга глаза — не началась ли? Интересно.

Д[рзгештти], 6 сентября 1917 г.

Сегодня был на почте и там получил от тебя вскрытое военной цензурой в Смоленске (!) письмо от 14 августа. Лучше поздно, чем никогда. Может быть, дождусь и письма из Риги. А жду я этой последней весточки, не дождусь... <...>

Ты опять пишешь о пресловутом призыве врачей. Оставим это. Обидно мне то, что навсегда останется горькое чувство по отношению к таким, в общем, славным людям, как Иван Михайлович и Николай Иванович. Я им не смогу простить никогда, что они четвёртый год находятся дома, когда мы от всех, от всего оторваны... Неужели Ал.Ал. Воронков¹ до сих пор ещё сидит у себя в деревне в Рязани? Ведь это было бы явной насмешкой над нами. И главное, сидят люди дома и не ценят этого, не сознают, как много им дано, как богаты они. Разве, вернувшись теперь домой, я смог бы заразиться пресловутой психологией тыла? Прежде всего, нажива. Дери с кого попало, и побольше. А затем удовольствия и развлечения во что бы то ни стало, какой угодно ценой... Полное забвение об общих нуждах государства, о котором мы здесь, видит Бог, больше думаем, — и да здравствует мой личный мелкий эгоизм!

Во всех грехах армии виноват только тыл, — говорю это убеждённо. Не ему нас ругать и поносить, на себя бы оборотиться. О, как я ненавижу сейчас ваш тыл, хоть и знаю, что многим и там плохо приходится, и как я стремлюсь именно туда, в далёкий тыл!

Старая уже тема. Прочёл и выругал себя: чего ноешь! А что же поделаешь, когда душа ноет?

Д[рзгештти], 7 сентября 1917 г.

Мотался весь день по жаре (у нас днём жарко, а ночи прохладные) и устал изрядно. Вернувшись домой, писем не нашёл ни о тебя, ни из Риги. Есть только несколько строк от двоюродного брата, навестившего меня в июле в П[уфешты]. За две недели до сдачи Риги он был там, видел родителей. Ввиду полной нашей отрезанности от родных, он предлагает нам теснее сплотиться и просит меня навестить его в Б[ухаресте?]. Едва ли мне это, однако, удастся.

¹ Воронков Алексей Алексеевич — ассистент Морозовской детской больницы, приятель Ал.Ив. и Фр.Оск.

Шурочка, понемногу разбираю последние остатки запасов почтовой бумаги, но скоро они исчезнут окончательно. Тогда придётся писать, на чём попало. Жду обещанной посылки, но её пока ещё нет. <...>

Господи, хоть бы ты выбралась, наконец, в свою новую квартиру! Большой и неприятный для меня неожиданностью было то, что хозяин квартиры сохраняет за собой комнату. Сколько же комнат приходится на твою долю? И как вообще устроена квартира? В каком доме? Какое освещение?

Знаешь, Шурочка, мне очень хотелось бы (платонически) переехать после войны совсем в деревню... Вначале войны я её ещё боялся немного, потом привык, потом убедился, что в ней можно жить хорошо, а сейчас так я даже не хочу жить в городе и тянет подальше от людей, на лоно природы. К сожалению, у нас редко умеют в деревне культурно устраиваться. Вот в Галиции или даже в Румынии в интеллигентных домах в деревне (у врачей, духовных, учителей) совсем культурная городская обстановка, даже с комфортом. А у нас кругом дико и в доме дико. Мы с тобой и в деревне устроили бы себе маленький культурный центр, мне не страшно. Вся беда в том, что нам по теперешним временам не найти в деревне работы по душе. Придётся маяться в городе, ничего не поделаешь. <...>

Д[рзешити], 9 сентября 1917 г.

А у нас стоят чудные дни бабьего лета. Ясность и прозрачность воздуха удивительная. Тишина кругом. Изобилие плодов земных. Хорошо! Я теперь знаю, на какой срок лучше всего брать отпуск. Конечно, не в июне или в жарком июле. А у нас, в наших краях, только во второй половине августа и в сентябре. Тогда нет уже и скучных дачников, портящих своим присутствием каждый уголок. Вот я теперь мечтаю об отпуске из Морозовки, а нет ещё отпуска к тебе отсюда с фронта... И когда будет?.. <...>

С большой тревогой читаем газеты. Что будет? Как выйдет Керенский из нового, выражаясь мягко, затруднения. Удастся ли ему составить коалиционный кабинет?

Растёт в стране большевистское настроение. И понятно почему — ведь они на своих знамёнах написали «мир»! Мир во что бы то ни стало. И как не соблазниться массам этой формулой?! Но как они осуществят своё требование? Так ли просто это?

Я вижу три альтернативы: или Россия продолжает соблюдать верность союзникам, борясь за свой мир «без аннексий и т. д.», но истекая при этом кровью..., или она заключит сепаратный мир во что бы то ни стало, по рецепту большевиков, потеряет при этом большую часть своих свобод и, к тому же, будет отдана на съедение бывшим союзникам, — и гибнет, не вызывая ничего сожаления..., или в России объявится свой Бисмарк, сумеющий найти, нащупать новые международные комбинации, даже не сохраняя в полной неприкосновенности все договоры. И если успех будет его, то простятся ему и России грехи. Необходим талант. Прямолинейность не поможет. Но найдётся ли талант?..

Д[рзешити], 11 сентябрь 1917 г.

Вернулся сегодня из города Б[акэу], куда поехал третьего дня вечером, отчасти навестить 29-й отряд, находящийся от него в 9 верстах. Здесь нашёл, наконец, письмо от тебя, от 28 августа.

Ты, наконец, переселилась на новую квартиру. Ну, слава Богу! Всё-таки опять свой угол. Ты пишешь, что нет солнца и холодно. Шурочка, нам, вероятно, ко многому ещё придётся привыкать в ближайшие годы, хотя ко многому мы уже привыкли... Всё больше страшит меня надвигающийся на Москву голод. С холодом, кажется, ещё скорее можно будет справиться, если только керосин не будет отпускаться по карточкам, и его хватит. В крайнем случае, можно лампой «молния» согревать хотя бы одну только комнату. Но «недоедание» к зиме, вероятно, достигнет больших степеней. Если бы хоть крупы достать для Иринки! Знаешь, Шура, я постараюсь здесь достать каким-нибудь путём со складов В.З.С. и послать тебе. Не знаю только, где склады, как я там достану и как пошлю, но попытку непременно сделаю. Выход надо же найти, отчаяние одно не поможет.

А ты мне всё-таки пиши, Шурочка. Как вы питаетесь с Христиной Ивановой и Соней и как вы достаёте продукты, не имея прислуги?

Где, в каких учреждениях ты будешь работать зимой? Останется ли за тобой что-нибудь в Морозовке или нет? Как вообще там отношения твои с начальством? Кто там теперь задаёт тон? Будешь ты работать у Циклинской или нет? Если да, то сколько это у тебя отнимет времени? Как обстоит дело с приглашением в детскую клинику и в Воспитательный дом, о чём ты раньше мне как-то писала. <...>

У меня много вопросов. Ведь твои письма стали редки (за август всего 7!) и скупы на факты, а я так далеко нахожусь от вашей жизни и условий её, что не всегда могу себе всё уяснить. Однако мне интересны и близки все ваши мелочи, не говоря уже о вопросах твоей работы и условиях существования.

Д[рзешити], 12 сентябрь 1917 г.

Получил твоё письмо от 31 августа. Тебе тяжело, настроение безотрадное. И как может быть иначе при полном мраке в общественной и личной жизни. Это слишком понятно, у меня самого на сердце более чем тяжело. Но почему же отсюда делать выводы, продиктованные только скорбным чувством без контроля разума? Или неужели ты и в самом деле веришь, что я когда-либо соглашусь переехать в тыл где-нибудь на юге, взять к себе Ириночку и оставить тебя одну в Москве: работай, дескать, на семью, не пользуясь её радостями. И опять: «я буду работать, отсылать все деньги вам, чтобы вы ни в чём не страдали; ну, не всё ли равно, насколько меня хватит»...

Ты почему-то претендуешь на привилегию приносить для семьи жертвы, а я горячо протестую против этой претензии. Ты, это характерно женская черта очень высоко ставить материальное благополучие близких тебе людей (не своё, конечно), готова ради него пожертвовать ценностями духовного порядка, отказом от семьи, от личной жизни в данном случае. Если бы я рассуждал по-твоему, то я не имел бы права сейчас хлопотать о переводе моём в Москву. Ведь ваше материальное благополучие от этого, безусловно, ухудшится: я не буду получать полевых порционных, и самому жизнь будет обходиться в несколько раз дороже.

Если я сейчас могу вам выслать не меньше 350 р. (а не 300, как ты пишешь; в среднем с февраля до сентября по 392 р., не приуменьшай!), то тогда, вероятно, на семью останется в лучшем случае 200 р.!

Значит, я должен оставаться на фронте? Конечно, нет, и мне в голову даже не придёт такое предположение, да и тебе тоже. Я знаю, что с моим приездом тебе ещё труднее будет жить материально, но я знаю также, что нам обоим необходимо быть вместе прежде всего. И я не побоюсь, несмотря на тяжёлые времена, уменьшить наш общий бюджет ради достижения высшего блага, духовной ценности. И если это касается меня, то я знаю, ты со мной совсем согласна. Но для себя ты сохраняешь право на жертвы. Чисто по-женски — у вас какая-то страсть к страданию, стремление к нему.

Д[рэнешти], 14 сентября 1917 г.

Начинает, как будто, хмуриться и погода. Неужели так-таки доживу здесь опять до периода непролазной грязи, пронизывающей сырости и стужи, беспросветной безнадёжной тупости, безразличия?.. Не хочу, не хочу!

Но нет, я не дам себе распуститься. Надо бороться с настроением угнетённости. И всё-таки я и сейчас верю, что зиму проведу с тобой. Так ли, этак ли, но это получится. Я просто не допускаю обратное. <...>

Не будь так скупа на сообщения, Шурочка. Ты меня неверно поняла, если думаешь, что мне неинтересны все мелочи вашей жизни, и если поэтому так мало стала писать о них. Разве они могут меня не интересовать?

Д[рэнешти], 15 сентября 1917 г.

Вот досада, Шурочка! Узнал я случайно, что в А[джуде] имеется продовольственный склад В.З.С. Я туда вчера послал человека с поручением закупить манной крупы, риса и вермишели для Ириночки. Он сегодня вернулся, и что же оказывается? Склад несколько дней тому назад переехал далеко отсюда на Буковинский фронт. Вот обида! Тем более что, как оказывается, все эти продукты имелись на складе и выдавались беспрепятственно по требованию начальника части. Я ещё узнаю, не удастся ли получить через 29-й отряд. Если нет, то пошлю на Буковинский фронт.

Хочу также, если будет возможно, достать в интендантстве яичных консервов в порошке. Вещь очень хорошая. Тогда явился бы вопрос, как доставить к вам в Москву. Но и этот вопрос я бы как-нибудь разрешил. Буду действовать. Ириночка должна быть всем обеспечена.

Погода нынче сырая, идёт осенний дождичек. Холодно, затопил печь. Кашляю, сморкаюсь. Скучно.

Шурочка, в газетах начинают всё более настойчиво говорить о мире. На этот раз, не удастся ли? Тон всех официальных выступлений последнего времени во всех странах, несомненно, миролюбивый. Чувствуется стремление к известному соглашению. Ясно, что если мир будет заключён сейчас, он будет по существу заключён за счёт России. Национальная наша гордость сильно пострадает. Но большой ещё вопрос, стоит ли нам из-за национальной гордости окончательно разрушать себя. При дальнейшем ведении войны мы, быть может, и «с честью» погибнем, но погибнем несомненно. Да и «честь» ещё

под большим сомнением, принимая во внимание, что после Тернополя явилась Рига, а после Риги — Якобштадт¹... А всё-таки, Шуручка, я к зиме буду у тебя. Не допускаю ничего иного.

Как тебе нравится эпопея «Корнилов-Савинков»?² Дело оказалось не совсем чистым... А как нравится афера Каледина³? Оказалось, что у страха глаза велики, и наша демократия немножко струхнула раньше срока... Тоже любопытно. Эх, Рассея, Рассея, родина моя! Жалкая горькая вучесть твоя! <...>

Сегодня ты начала работать у Кедровского⁴. Пиши подробнее — мне всё, всё интересно. И ведь скоро я опять буду с вами...

Д[рзешити], 17 сентября 1917 г.

Когда же чаша страданий будет испита до дна?! Где предел? Витя убит, застрелился, не выдержав последнего момента высшего напряжения всех душевных сил... Пал, быть может, одной из последних жертв этой дикой безумной войны... Молодой, сильный, такой хороший... Когда хороших становится всё меньше и голоса их всё слабей, тонут среди моря разнузданности, нечестности, произвола, некультуры.

Когда пала Рига, когда пришли известия о бывшем в ней погроме, и сердце сжалось при мысли об оставшихся в ней родных, я вспомнил Витю, и представилось мне, что и он, может, уже тяжело раненый, в каком-нибудь лазарете или ещё хуже... Я тебе писал тогда. И вот теперь, думая о Вите, невольно думаю о родных. Как они пережили ужасы 20-го и 21-го августа? Живы ли вообще? С июня месяца нет от них ни строчки. Какой ужас кругом! День Веры, Надежды, Любви и Софии. Вера? Её уже почти нет, не может быть. Надежда? Она чуть теплится, иначе не стоило бы и жить. Любовь? Где она? Кругом дикие вопли ненависти. Софья? Святая Премудрость нас давно оставила, и мы бродим во тьме ночной...

¹ Якобштадт — ныне город Екапилс в среднем течении Даугавы, родина отца автора писем, старшего Краузе.

² Эсер-боевик Борис Викторович Савинков (1879—1925) в дни «Корниловского мятежа» являлся управляющим Военным министерством, товарищем (заместителем) военного министра, военным губернатором Петрограда, исправляющим обязанности командующего войсками Петроградского военного округа. Незадолго до «мятежа» он по поручению Керенского вёл переговоры с Корниловым и согласовывал его действия с министром-председателем. Савинков Борис Викторович (1879—1925) — эсер-боевик, управляющий Военного министерства, товарищ (заместитель) военного министра, военный губернатор Петрограда, исправляющий обязанности командующего войсками Петроградского военного округа, впоследствии активный участник Белого движения, эмигрант, погиб в застенках ОГПУ.

³ Генерал от кавалерии, первый с петровских времён выборный атаман Войска Донского Алексей Максимович Каледин (1861—1918) активно поддержал «Корниловский мятеж». Временное правительство предприняло попытку арестовать атамана и сместить его с должности, но затем признало его непричастность к «мятежу».

⁴ Кедровский Василий Иванович (1865—1937) — профессор кафедры патологической анатомии Московского университета, директор Института бактериологии им. Г.Н. Габричевского.

Кажется, мы достигли апогея личного и общественного несчастья. Дальше ехать некуда. Что может нас ожидать ещё худшее? Позорный мир? Но для нас сейчас и позорный мир явится ни с чем не сравнимым благом, надо в этом со- знаться. Гражданская война? Она покончит с неопределённостью, и восторже- ствует какая-нибудь одна сторона. Это хоть шаг к выздоровлению.

Шурочка, я знаю, как тебе безгранично тяжело сейчас, а я так далеко, и ни- чем помочь тебе не могу. А словами не сможешь в этом горе...

Послезавтра будет три года, как умер Нуго. Это первый тяжёлый удар, кото- рый пришлось пережить нашей семье. С тех пор судьба не скупилась на удары...

Какие мы будем после войны? Что от нас, от прежних, останется? Разру- шенная вконец нервная система... Озлобленность по отношению ко всем более счастливым, спокойным, равнодушным... Затаённое чувство обиды и горечи на всю жизнь... Неужели такие настроения будут доминировать? Страшно даже по- думать. Хочется отогнать эти чувства. Но ведь они ползут, надвигаются... Вот где источник большевизма... Горе нам!

Д[рзешити], 19 сентября 1917 г.

Грусть, тоска. Писем от тебя опять нет три дня. Общение с тобой в послед- нее время совсем почти прервалось. Ты не пишешь, а если и напишешь, то толь- ко несколько строчек... <...>

С жадностью набрасываю каждый день на газеты: как шансы мира? Ведь я же тебе говорил, что я не допускаю мысли, что наступающую зиму проведу не с тобой в Москве. Не может, не должно это быть. А между тем оказыва- ется, что ещё в июне Керенский запретил смену фронтовых врачей тыловыми на том основании, что фронт окажется с неопытными врачами. Правда, смена всё-таки производилась под разными предлогами, но уже не в таком широком размере.

На днях ожидается здесь последний список сменных врачей из Петрограда. Едва ли я в нём окажусь, так как число баллов у меня не слишком большое. Ведь как-никак, а первый год войны я провёл в тылу, а тут всё время находился в райо- не корпуса, то есть в третьем районе, каждый месяц пребывания в котором оце- нивается в ? балла, против полной единицы пребывания месяца в полку (первая зона). Если бы смена продолжалась и велась бы энергично, то очередь дошла бы и до меня. Но так шансов, можно сказать, что нет!..

Если я увижу, что решительно ничего не выйдет из смены, или если, как я надеюсь, с сокращением армии уничтожен будет и мой отряд, и я останусь не у дел, то я, пожалуй, попрошу Сергея Михайловича найти мне место ординатора в каком-нибудь госпитале в Могилёве. До поры до времени. Я думаю, что в Могилёв устроиться можно будет.

Ириночке пошёл девятый месяц, а я её не знаю совсем. Неужели у ней зуб- бочки ещё не появляются? Это нехорошо. И с чего бы у ней быть рахиту? Ведь кормилась и росла она нормально.

Прошёл месяц с тех пор, как мне могли послать последнее письмо из Риги. Они, несомненно, писали. Я же ничего не получил. Что с ними? Как они? Живы ли?..

Д[рзгештти], 21 сентября 1917 г.

Нет и нет писем. <...> Прерываются связи. <...>

Помнишь, как ты рыдала и мучилась, когда тебе несколько дней пришлось провести в изоляции, в сомнительном отделении? К чему тогда были слёзы? Стоило ли? Или твоё отчаяние, твои терзания, удастся ли нам совместная поездка в Финляндию, или же придётся разлучиться на целый месяц! Теперь мы в разлуке четвёртый год!.. Или твоё большое горе по случаю моего переезда на квартиру незаразных ассистентов? Как будто мы и так не виделись каждый день много часов... Правда, смешно вспоминать теперь, после целого моря горя, большого истинного горя.

Ищешь и не находишь слов утешения. Осталось тупое ожидание: ведь кончится же когда-нибудь наше испытание, не может не кончиться.

Как изменились наши письма за эти три года, как изменились мы сами! Даже внешне. Знаешь, на висках у меня всё больше прибавляется седых волосков. Мне теперь уже никто не даст 20 лет, как ещё недавно. Молодость прошла.

Я опять взялся за книги. Читаю кое-что. Читаю и часто думаю, как хорошо бы читать нам вместе. Я мечтаю об этом. Хочу прочесть с тобою снова Толстого, Достоевского; мечтаю о времени, когда буду читать Ириночке первые сказки...

Получаешь ли ты журнал «Психология и дети»? Все ли получаешь номера «Голоса минувшего»? И сохраняешь ли? Я здесь подписался на «Былое». Обновила ли ты «Русские ведомости» с октября? Боюсь, что нет, и я опять получу только к концу месяца сразу 20 старых номеров. Ну не беда.

Если бы не книги, было бы совсем плохо...

Д[рзгештти], 23 сентября 1917 г.

Уже неделю нет писем от тебя. Только во сне я видел прошлой ночью, что получил от тебя маленькую открыточку с несколькими строчками, написанными в большом душевном смятении. А какими словами я могу тебя утешить? У меня нет таких слов. Душа у меня у самого в сумеречном состоянии... Разве может быть иначе? Гаснет всякая вера в будущее — и в личное, и в общественное. Пусть это настроение не будет постоянным, пусть в конце восторжествует здоровая вера в жизнь, в творческую её силу. Но временами, когда соединяются в один давящий кошмар и мысль о четвёртом годе нашей разлуки, крушении нашей семьи, и смерть Вити, и рижский погром с его неизвестностью, и голод, и холод в Москве, и безумная война, которая никак не может кончиться, и общее безумие, корысть и ненависть, и погромы в Тамбове, Козлове и Ташкенте с их разгулом пьяной солдатчины, и там наверху, в Демократическом совещании¹, весь этот ужас безнадежно покрывается словами, словами и словами..., когда иссякла творческая мысль и не видно творческого дела, — тогда берёт тупое, глухое отчаяние и хочется бежать, бежать, бежать, всё равно куда, только подальше от этого гнёта.

¹ Всероссийское Демократическое совещание представителей политических партий и общественных организаций в противовес более левому Московскому совещанию проводилось в Петрограде 14–22 сентября 1917 г. (1582 делегата). После безуспешного поиска компромисса совещание санкционировало создание Демократического совета (Предпарламента) при Временном правительстве.

Если бы хоть быть нам вместе в эти ужасные, тёмные дни! Но это возможно только, если кончится война. И тут единственный оставшийся проблеск надежды: она скоро кончится. Она длится больше не может, она дошла до крайнего абсурда. <...>

Сергей Михайлович нам пишет из Могилёва. Вторично спрашивает твой адрес. Хочет с оказией послать тебе кой-какие продукты. Это он по собственной инициативе. Я ему ещё ни разу не писал. Есть ещё хорошие люди на свете. Адрес ему послал Гаврилыч. Какие продукты, и откуда он их достаёт — не знаю.

Сижу опять над своей канцелярией. Хочу на этот раз всё, всё привести в полнейший порядок, чтобы руки были развязаны. Ведь я скоро буду у тебя, должен быть.

Д[рэнешти], 25 сентября 1917 г.

Девять дней не было от тебя писем, моя Шурочка. Только сегодня наконец получил твоё письмо от 15 сентября, второе за этот месяц... <...> Ненавижу я всякие обходы законов, особенно в настоящее время, но чувствую, что если в скором времени не возобновятся отпуска, придётся хлопотать о командировке под каким-нибудь предлогом. Ведь ездят же так почти все. Это мы с Гаврилычем такие ультра честные, не подходим к духу времени. При теперешнем-то разгуле нам совестно переступить закон. Допотопные люди! Но я же должен тебя видеть. Не могу не видеть.

Ты говоришь, что собираешься в провинцию, что в Москве тебе не прожить. Если не прожить теперь, то подавно не прожить, когда я вернусь, и ещё безнадежнее после войны. Только знай, Шура: если ты представляешь себе такую возможность, что ты будешь сидеть в провинции, а я в Морозовке заканчивать свой стаж, то ты ошибаешься. Этого никогда не будет. Где ты, там и я; tertium и даже secundum non datur!¹ После трёх с половиной лет разлуки продолжать эту разлуку ещё неизвестно как долго — на это я ни в коем случае не пойду. Лучше либо голодать, либо бросать специальность ради возможности существования, — но только вместе. Тут я ни на какие уступки никогда не пойду.

Не отчаивайся, моя Шурочка, если не сразу имеешь достаточный заработок. Провинция сейчас едва ли обойдётся тебе дешевле. Ты же сама мне это доказывала летом. Разница с Москвой только та, что там хоть какие-нибудь продукты всегда найдутся, но денег там меньше не истратишь. И неужели московские связи не дадут тебе в ближайшие месяцы заработка! Подождём ещё немного. Всё-таки ещё рано отчаиваться. Ещё можно бороться. Только бы приехать к тебе хоть на 2—3 недельки!

Ты меня обрадовала известием, что до 1 часа дня 21-го августа родные были живы и здоровы. Жаль только, что ты ограничилась этими словами. Откуда Вилли имеет эти сведения? Через кого? Или он получил так-таки письмо? Что он ещё знает по этому поводу? Ну, всё равно, главное, что к этому часу они были живы. А ведь погром к этому времени уже должен был прекратиться. Впрочем, Сергей Михайлович пишет, что слухи о погроме в Риге сильно преувеличены. <...>

Становится холодно. Холодно и на душе. Очень нехорошо...

¹ Третьего и даже второго не дано! (лат.).

Д[рзисийти], 29 сентябрь 1917 г.

Нет и нет писем. Нет посылки, нет никаких известий от тебя... Ты где-то совсем далеко, далеко... Какой тонкой стала наша внешняя связь! И как тяжело писать при таких условиях.

Вспоминается ноябрь и декабрь прошлого года с его полной оторванностью от всего родного. Не хочу повторения того тяжёлого душевного состояния. Шура, неужели я теперь буду получать письма от тебя только раз в одну-две недели? Не может этого быть. <...>

А всё-таки, Шурочка, мир будет скоро, несмотря на всё. Я верю, верю. Папа римский серьёзно взялся за дело, а Германия явно стремится к миру. Даже Франция уже не настаивает на Эльзас-Лотарингии, а говорит только об «округлении» своей границы. Достанется нам, это очевидно. Но что станет с нами, если мы будем продолжать войну? Лучше не будет, а хуже может быть, и даже очень.

Железнодорожная забастовка¹. Ведь это преступление! Элементарных чувств гражданственности у нас ещё нет. Нам нужно начинать повсюду с самого начала.

Велика наша земля и обильна...

Тяжело писать. На душе пусто. Кругом хорошего ничего. Желание одно — к тебе.

На этом заканчиваются письма 1917 года. Вскоре Фр.Оск. возвратился в Москву (по-видимому, был демобилизован). Уличных боёв во время октябрьских событий он почти не заметил, перевоза в эти дни свою семью на новую квартиру. В конце декабря мы видим его на любительском снимке дома, с семьёй — под рождественской ёлкой. После небольшого перерыва он был мобилизован в Красную Армию, и его врачебная служба продолжилась в годы Гражданской войны.

¹ Всероссийская железнодорожная забастовка проходила 24–26 сентября 1917 г. и по законам того времени являлась государственным преступлением. Железнодорожное сообщение в стране было парализовано. Забастовка прекратилась только после того, как были удовлетворены экономические требования железнодорожников: повышения зарплаты и улучшения их продовольственного снабжения.